

ЧЕСТЬ



ОТВАГА

Б. Воробьев Он знал, что это его последняя позиция, но не думал о смерти. Эта мысль была для него сейчас глубоко безразлична, как и мысли о самом себе. Он ощущал себя каким-то посторонним существом, о котором не надо заботиться и переживать, потому что и заботы и переживания предназначались другим: Шергину, который полз где-то в темноте, задыхаясь от напряжения и боли, товарищам на берегу, которые молча и скорбно прислушиваются к перестрелке, женщинам, которых он любил и которые любили его, — всей той жизни, которая была, есть и будет... Время медленно текло сквозь него. Оно не замедлило свой бег, но его образы устойчиво удерживались в сознании, смешивались в общий мотив, в котором звучали радость, любовь и боль...

ПРИБОЙ У КОТОМАРИ

МУЖЕСТВО

ЧЕСТЬ • ОТВАГА • МУЖЕСТВО

Б. В О Р О Б Ь Е В

ПРИБОЙ У КОТОМАРИ

(ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ)

Второе издание

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974

P2
B75

Воробьев Б. Т.

B75 Прибой у Котомари. Героическая повесть.
2-е изд. М., «Молодая гвардия», 1974.

144 с. (Честь. Отвага. Мужество.)

Действие повести происходит в 1945 году на дальневосточных рубежах нашей страны. Стремясь удержать Курильские острова, японцы переставляют навигационные знаки в районе одного из Курильских проливов. В результате советский танкер садится на мель. Японцы устанавливают на судне пушки, превращая его таким образом в форт, который держит под обстрелом весь район пролива.

О том, как была уничтожена советскими разведчиками эта батарея, рассказывается в повести Б. Воробьева.

B 70302—313
078(02)—74 184—73

P2

Воробьев Борис Тимофеевич
ПРИБОЙ У КОТОМАРИ

Редактор А. Лобанова

Художник Р. Авотин

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор З. Ходос

Корректоры: З. Федорова, Е. Самолетова

Подписано к печати с матриц 12/XI 1974 г. А07822. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 4,5 (усл. 6,3). Уч.-изд. л. 5,4. Тираж 100 000 экз. Цена 17 коп. Т. П. 1973 г., № 184. Заказ 2404.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.

B 70302—313
078(02)—74 184—73

©Издательство «Молодая гвардия», 1974 г.

ПРОЛОГ

Девять человек.

Шестеро — в кубрике, где нельзя по-настоящему разогнуться, двое — в машинном отделении за переборкой, девятый — в рубке наверху.

Но трое последних недолго останутся с нами. Они лишь высадят шестерых на темный и мокрый берег и уведут судно обратно.

Это случится позднее; пока же эти трое заняты своими делами и своими мыслями.

И тот, что находится в рубке, и двое других, в машине, думают сразу о многих вещах:

о течении, которое все время сносит судно с курса;

о минах в черной воде;

о приливе, который независимо от твоего желания начнется ровно через три часа и к которому нужно успеть, потому что только с ним и возможно подойти к берегу;

о пушках и пулеметах на берегу, которые при малейшей оплошности разнесут судно в щепки.

Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих троих. Может быть, один из тысячи взрывов, прокатившихся в ту ночь над Великим океаном, был взрывом под днищем их судна; может быть, им удалось возвратиться домой.

Теперь о шестерых.

Они молоды и полны сил. Старшему из них тридцать, младшему — двадцать три. Шесть мужчин: старший лейтенант Сергей Баландин, главный старшина Влас Шергин, старшина первой статьи Федор Калинушкин, сержант Владимир Одинцов, старший матрос Иван Рында, матрос Мунко Лапцуй.

Запомним их, ибо они окончили свой путь. И ни земля, ни море не сохранили их могил.

Мы расскажем о них все, что знаем.



1

— **В** кубрике!

Металлический голос прозвучал над самым ухом. Разморенный духотой, Баландин не сразу сообразил, что призыв обращен к ним. Чтобы осмыслить это, ему понадобилась целая секунда. Неразборчивое бормотанье в переговорной трубе свидетельствовало о том, что наверху недовольны затянувшейся паузой и готовятся повторить вызов.

Баландин наклонился к раструбу.

— Есть в кубрике!

— Старшего в рубку!

Трап. Пять ступенек. Распахнутый

прямоугольник двери был едва светлее душной внутренней кубрика.

Крутая зыбь накатывалась из темного пространства океана. Волны с шипением обтекали пузатое тело бота, пробивали клюзы, обдавая водяной пылью палубу и окна наглухо задраенной рубки. Вдохнув соленого влажного ветра, Баландин открыл дверь.

В рубке, освещенной лишь фосфоресцирующим светом приборов, горбился над штурвалом старшина бота.

Протяжно скрипели штуртросы.

Качка здесь ощущалась явственнее, чем внизу, и Баландину пришлось прислониться к стене.

Ничто не изматывает нервы так, как неизвестность. И ничто не тянется так убийственно долго, как ожидание. Самый сильный человек в таком положении рано или поздно начинает испытывать то состояние усталости и внутреннего распада, когда не помогают ни курево, ни попытки отвлечься от тревожных мыслей, ни разговоры вслух с самим собой.

Уже несколько часов бот шел к невидимому в ночи берегу, и в рубке старшина в тысячный раз глядел на хронометр. Роковая медлительность стрелок могла свести с ума хоть кого. Поэтому каждый раз, глянув на хронометр, старшина стискивал зубы и, как от врага, отводил ненавидящий взгляд от медного, холодно светящегося круга.

Старшина устал. У него сводило руки и ноги, ныла натруженная поясница. Звенело в голове. Минуты слабости, когда хотелось нагнуться к переговорной трубе и вызвать помощника, наступали все чаще. Но старшина пересиливал себя. Повисая временами на штурвале, он упорно вел бот к той условной точке

в океане, координаты которой были известны только ему.

— Зыбь, — не оборачиваясь, проговорил старшина. — Хуже нет этой зыби.

Баландин молчал, вглядываясь из-за плеча старшины в черные рубочные окна. Он понимал старшину: его ответственность, его раздраженность и усталость, его одиночество в этой тесной и низкой рубке, где, советуясь только с самим собой, старшина принимает решения и сам выполняет их; его напряжение в единоборстве с ночным океаном, когда на сотни миль вокруг нет ни створных огней, ни заранее отмеченных фарватеров, когда каждый звук за бортом кажется подозрительным и вызывает стеснение в груди. Но Баландин также знал, что старшина позвал его сюда не для того, чтобы жаловаться на трудности, и ждал, когда тот наконец заговорит.

— Слышь, старлей? — старшина снял одну руку со штурвала и извлек откуда-то сложенную вчетверо карту. Поднес ее к сиявшему мертвенным светом нактоузу. — Смотри. В точку мы не поспеваем. Сносит, как котят. Но можно сделать финт ушами. Вот эту отметку видишь? Ноль целых хрен десятых? Камни. Перепрыгнуть мы их сейчас не перепрыгнем. Но, — старшина вернул на курс рыскнувший бот, — скоро пойдет вода, и тогда чем черт не шутит. Перескочим — наше дело в шляпе. Попробуем, старлей, а?

— А что, не успеваем — точно?

— Как в аптеке! Течение. И ветер в морду.

«Так, — подумал Баландин, — только этого не хватало: не успеваем! Это значит, что надо либо срочно возвращаться, либо решаться на предложение старшины. Впрочем, возвращение невозможно: они все рав-

но не успеют убраться до рассвета, и их расстреляет любой корабль. Стало быть, придется рисковать. А велик ли риск? Велик. Если бот сядет на камни, утром их выловят из воды, как зайцев в половодье. Хотя... Сколько от камней до берега. Не больше двух миль. От силы — две с половиной. Добраться на шлюпке раз плюнуть. Но бот! Японцы вмиг учуют, откуда дует ветер, и поднимут трамтарарам. Тогда заказывай деревянные бушлаты. А если проскочим? И почему бы не проскочить, в конце концов! Боту нужно всего полметра под киль. Будет полметра. Приливы здесь большие, не то что на Балтике. Только бы старшина не подкачал. Не должен. Старморнач¹ за него как за себя ручался...»

— Когда будем у камней?

— Часа через два, — ответил старшина, понимая, что его предложение принято, и проникаясь симпатией к стоявшему рядом разведчику, за молчаливой внешностью которого угадывалось спокойствие видавшего виды человека. — Через два часа дошлепаем, старлей.

— Может, сменить? — предложил Баландин. — Отдохнешь пока.

— Спасибо, старлей. Только я штурвал, как и жену, в чужие руки не отдаю. Не обижайся. Иди лучше сам покемарь, я в случае чего звякну.

Он отвернулся от Баландина и стал переключивать штурвал, выводя нос бота на новый курс.

Баландин спустился в кубрик.

— Что там, командир? — это спрашивал Федор Калинушкин.

— Не успеваем. Пойдем напрямую.

¹ Старморнач — старший морской начальник.

— Прямо даже галки не летают, командир.

Баландин сел на старое место. Он понимал, что разведчики ждут от него более конкретных объяснений, и коротко пересказал им содержание разговора в рубке. Разведчики выслушали его молча. Со стороны могло показаться, что они не оценили серьезности положения, но Баландин хорошо знал истинную причину такой сдержанности. Люди, чьи силуэты едва угадывались в темноте кубрика, столько раз за свою жизнь бывали в различных переделках, что уже давно приучились сдерживать эмоции. Но каждый из них — и это Баландин тоже знал — в глубине души сейчас по-своему переживал его слова.

Однако молчание длилось недолго. Из угла снова послышался хрипловатый голос неугомонного Калинушкина, который пытался вызвать на разговор сидевшего рядом Лапцуя.

— Мунко, а почему ненцев самоедами звали?

— Дураки звали.

— Так уж и дураки?

Лапцуй не отзывается. Но от Калинушкина отдаться нелегко.

— А жен у тебя сколько было?

— Одна жена, сколько.

— Одна? — недоверчиво переспрашивает Калинушкин. — А ты любил свою жену, Мунко?

— Ну, любил.

— А бил тогда зачем? Помнишь, рассказывал? — в голосе Калинушкина слышится торжество человека, уличившего ближнего в смертном грехе.

— Надо было и бил...

Против такого аргумента возразить нечего, и Кали-

нушкин умолкает, погрузившись в философию чужой жизни.

«Отбери ребят поотчаянней, — вспомнились Баландину слова начальника разведки. — Чтоб не моргнув в огонь и в воду. Не к теще идешь — к черту на рога...»

Новый человек, начальник разведки, потому так и говорит. Отчаянных во взводе нет. На отчаянных воду возят. А у него североморцы. Матросы. Всю войну на Севере отгрохали, на скалах Мурмана. Немецких горных егерей вокруг пальца обводили. А уж те — дай бог каждому, — вояки были... Пришлось попотеть, когда отбирал. Взвод — двадцать пять человек, ребята один к одному. И самолюбие у всех. Но отобрал. Асы высшей квалификации.

Баландин довольно улыбнулся, представив себе лица тех, кто вместе с ним томился сейчас в духоте и тесноте кубрика.

Ближе других к Баландину сидел главный старшина Влас Шергин. Этот человек с лицом гладиатора занимал в душе старшего лейтенанта особое место. Больше того — они были друзьями. Четыре года назад, в самом начале войны, Шергин спас Баландина, когда тот, раненный, барахтался в воде рядом с торпедированным кораблем. С той поры ничто не разлучало их.

Родом из поморского села, Шергин из тридцати лет своей жизни почти двадцать провел на море. Он мог бы рассказать о многом. О том, как десяти лет от роду нанимался покрутчиком¹ к деревенским богатеям. Как ходил за тюленями на промысловой шхуне. Как тонул, смытый за борт штормовой волной. Как один зи-

¹ Покрутчик (поморский) — батрак.

мовал на острове, питаясь водорослями и ракушками. Море калечило и мордовало его, но он не расставался с ним и любил, как однолюб любит женщину. На флот Шергина призвали перед войной. Отслужив два года на крейсере, он был переведен боцманом на «морской охотник», где Баландин был помощником командира.

Почти двухметровый, спокойный и уравновешенный, Шергин обладал мощью и подвижностью медведя. В разведотряде он сдружился с Калинушкиным. Они прекрасно дополняли друг друга, и достоинства каждого из них были лучшей гарантией против всяких неудач.

Под стать Шергину был и Калинушкин, закадычный друг боцмана и неперемный соучастник во всех его делах. Баландин любил этого дерзкого, насмешливого и удачливого парня. Сын керченского биндюжника, Калинушкин унаследовал от отца его хватку, его удаль, размах и склонность к горлопанству, которым славятся представители этой отмирающей профессии и которое, кстати говоря, не имеет ничего общего с тем, что называется «подрать горло» или «почесать язык». Горлопанство биндюжников — это знак принадлежности к беспокойному и предприимчивому цеху людей, привыкших надеяться на себя, на свою находчивость во всех случаях жизни, умеющих показать товар лицом, не лезущих за словом в карман, а всегда держащих его, как и кнут, наготове. Это качество приобретенное — такое же, как угрюмость палача, общительность коробейника или словоохотливость комедианта. Но комедиантом или палачом, равно как и биндюжником, может стать не каждый, поэтому словоохотливость первого, угрюмость второго и горлопанство

третьего так или иначе отражают свойства этих натур.

Такого же рода было и горлопанство Калинушкина. Он был трибуном по рождению, демагогом в лучшем значении этого слова, и страсти кипели в нем, словно смола в котлах для грешников. Изливалась эта смола частенько, однако ни врагов, ни недоброжелателей Федор не нажил. Искренность его слов и поступков не оставляли у людей места для низменных чувств. Флот Калинушкин любил самозабвенно и был одним из лучших дальномерщиков эскадры. Начальство ценило его, но «фитилями» не обходило, ибо часто обнаруживалось, что ленты бескозырки у Калинушкина намного длиннее уставных, что из самой бескозырки изъята пружина, и бескозырка напоминает скорее блин, чем форменный головной убор, что брюки у Федора шире допустимого. За все это полагалось наказание, и Федора наказывали. Но, увы, его пристрастия оставались незыблемыми: появляясь под розовыми свечами цветущих каштанов Петровского парка, он, как и прежде, шокировал патрулей и длиной лент на бескозырке, и шириной брюк.

На флоте, а затем в разведке Калинушкин был своего рода знаменитостью. Бессменный чемпион по боксу, он поражал всех феноменальной реакцией. Про него ходили легенды. Рассказывали, например, что он потехи ради ловил ртом летящих бабочек. Было это правдой или вымыслом — Баландин не знал, зато он не раз становился свидетелем того, как именно реакция выручала Калинушкина из самых отчаянных положений. Он всегда ухитрялся сделать необходимое на секунду раньше противника. Среди разведчиков не было равных Калинушкину по части добывания

«языков». Как и Шергин, Калинушкин был одним из тех, с кем Баландин встретил войну и с кем не расставался все эти трудные и жестокие годы.

Впрочем, не уступал Калинушкину в популярности и Мунко Лапцуй, ненец из Ямальской тундры. Его присутствие в группе избавляло разведчиков от всяких случайностей и неожиданностей. Мунко был глаза и уши группы, ее недремлющей первобытной душой.

С неизменной трубочкой в зубах и ремненным арканом у пояса он появлялся и исчезал, как тень. Оленевод и охотник, он был сыном своего племени: мог сутками не есть, с терпеливостью стойка переносил холод и жару, не знал усталости. Он жил, казалось, как и все люди, но на самом деле у него не было своей жизни. Дитя природы, он жил ее жизнью, как олень в тундре, рыба в озерах, птицы в небе. В его раскосых непроницаемых глазах покоилось равнодушие татарского властителя, а ленивая медлительность тела заставляла думать о медлительности мысли и души. То и другое было обманчивым. Глаза Мунко видели и подмечали все, а его сухое тело могло в любой момент сократиться с упругостью и стремительностью тетивы. Лишь один недостаток числился за ним: нарушая неписанный закон разведчиков, он ни за что на свете не соглашался расстаться с трубкой и курил ее, казалось, днем и ночью. Ни уговоры, ни угрозы начальства отчислить Мунко из разведки на него не действовали. В конце концов, на ненца махнули рукой, прикрывшись для видимости тем, что Мунко-де пользуется не спичками, а кресалом. Все понимали, что разница между ними небольшая, но даже у самых ярых гонителей недостало духу лишить разведзвод его знаменитого слепопыта.

Четвертым в списке стоял Иван Рында, самый молодой и внушающий Баландину некоторые опасения. Нет, Баландин не сомневался в Рынде как в разведчике, иначе он не включил бы его в группу; его опасения были иного свойства. Баландина давно настораживали замкнутость Рынды и его неистовость в бою.

Тихий и ничем не выделяющийся в обычных условиях, он преображался в предвкушении любого риска, любого рейда в тыл, становился нетерпеливым и жестким. Его смелости и дерзости удивлялись даже старые разведчики. Но бесполезно было приказывать Рынде привести «языка». Вид живых немцев был для него невыносим. Он умерщвлял их при каждом удобном случае. Баландин знал, что у этого белорусского парня была в жизни трагедия: на глазах Ивана немцы зверски убили его мать и сестру. Это и ожесточило Рынду, и он при каждом удобном случае пускался на такие рискованные дела, которые не могли быть оправданы ни обстановкой, ни человеческой логикой. Когда же не ходил в разведку, Рында или отсыпался, или коротал время в одиночестве.

Баландин не сомневался, что Рында вызовется добровольцем. И не ошибся. Однако сначала не хотел зачислять его в группу. Но, взвесив все, переменил решение. Рында был первоклассным сапером и подрывником, и это обстоятельство перетянуло чашу весов на его сторону.

Как бы там ни было, а в предстоящей операции Рынде отводилась определенная роль, и Баландин был уверен, что разведчик справится с ней великолепно.

Пятым был радист, и, думая о нем, Баландин вспомнил те события, которые предшествовали появлению этого человека в разведывае.

Все началось два дня назад.

— Садись, старший лейтенант, и вникай, — сказал начальник разведки, когда, поднятый среди ночи, Баландин прибыл в штаб. Он пододвинул ближе карту. — Обстановка, скажу я тебе, пиковая. Нехорошая обстановка. Сегодня получена шифровка: флот готовит десант на острова. Куда будет направлен первый удар, думаю, тебе понятно. Сюда. — Начальник разведки ткнул обкуренным пальцем в то место на карте, где красные стрелы, как клещи, обхватывали зелено-коричневое пятно. — Островок, чтоб его приподняло да шлепнуло! Змей Горыныч, а не островок. Как они его брать собираются — ума не приложу. Каждый метр пристрелян. Но это не наше с тобой дело. У нас, старлей, загвоздка похлестче. Видишь ли, десант может высадиться только в одном месте — на юге. Здесь подходящие глубины, и ДБ¹ подойдут прямо к берегу. Но именно здесь и торчит этот чирей!

— Какой чирей? — хмуро спросил Баландин. Он никак не мог согреться со сна, хотя ночь была теплая. Чтобы как-нибудь унять дрожь, он закурил огромную самокрутку.

— Танкер! Не слышал разве?

— Нет, — признался Баландин.

— Э-э, брат, ты счастливчик, на готовенькое был. А я знаешь сколько порток здесь протер? Роту одеть можно было! И всю эту азиатчину насквозь знаю. Народ, я тебе скажу! Так слушай. Вот тут, милях в трех от берега, сидит на рифах наш танкер. Наш, понимаешь? История эта старая, довоенная и до конца не выясненная, но одно установлено точно: судно вы-

¹ ДБ — десантные баржи.

лезло на камни не по своей вине. Японцы специально переставили навигационные знаки, что и привело к аварии. Ну команду, естественно, интернировали, а на танкере какая-то умная японская голова догадалась поставить пушки. Ничего номер, а? Батарея, вынесенная в море. Форт. И скажу тебе: он нам всю картину вот как портит! Вникни: не сегодня-завтра корабли повезут десант, а тут этот дредноут как кость в горле.

— Задача, — сказал Баландин.

— Задача! Короче, нам приказано уничтожить пушки. Комфлота крепко надеется на нас.

— Задача, — повторил Баландин.

— Можно было бы использовать авиацию, и такие предложения были, но вся закавыка в том, что танкер находится в зоне действия береговых зенитных батарей. А их там понатыкано что поганок в лесу. Самолеты где взлетят, там и сядут. В общем, старлей, ты назначен командиром группы. Бери, кого хочешь, но пушки уничтожь. Ясно? И еще. По сведениям, на острове базируются гидросамолеты. Не тебе объяснять, какую опасность они представляют для десанта. Надо разыскать их и... — Начальник разведки рубанул рукой воздух.

— А где они, эти самолеты?

— Точно не установлено. Но если покумекать, догадаться можно. На острове три озера. Вот, вот и вот. Два, как видишь, так себе, лужи, а третье перспективное. Большое, а самое главное — вытянуто как по заказу. Факт?! И немаловажный, если учесть, что для разбега гидросамолету нужно не меньше километра. А теперь прикинь и сделай выводы. Здесь они, субчики, больше деваться им некуда!

— Когда планируется выход?

— Завтра в ночь. Срок, конечно, жесткий, но больше нам не дают. Положение на фронте крайне напряженное. Наши войска в Хингане испытывают невероятные трудности. Нет воды. Технику приходится тащить на руках. Но армия продолжает наступление, и флот не вправе тормозить его. — Начальник разведки посмотрел на часы: — Сейчас три сорок, и мы дадим людям доспать, но не позже полудня состав группы должен быть определен. Врать не буду: операция, прямо скажем, смертельная, поэтому пойдут только добровольцы. Пять-шесть человек, включая тебя. Людей ты знаешь, тебе и карты в руки. Отбери ребят поотчаянней. Не беспокойся лишь о радисте. Радиста тебе дают из штаба.

— Я благодарю начальство за заботу, — сказал Баландин, — но радист имеется. Классный. Проверенный и перепроверенный. И заменять его я не собираюсь.

— Не горячись, старлей. Горячность в нашем деле хуже чесотки. Ты куда идешь? В тыл. К японцам идешь, дурья твоя голова. А что ты знаешь по-японски, кроме «банзай»? Ничего не знаешь. И радист твой перепроверенный ничего не знает. Может, «языка» придется брать — что вы с ним делать будете? Кукарекать? А мы тебе спеца даем. Мало того, что ключом, как дятел, стучит, еще и японский знает. А насчет проверенный или непроверенный можешь не сомневаться. Плохого не дадим.

Возразить было нечего. Да и незачем. Все возражения разбивались об один-единственный аргумент: из разведчиков действительно никто не знал японского. Но эта простая мысль даже не пришла Баландину в голову. Действуя в силу инерции, он ни на миг не

задумался о том, что перед ними новый противник. Не немцы.

— Ладно, — сказал начальник разведки, наблюдавший всю гамму владевших Баландиным чувств, — вижу: понял. Тогда давай дальше. Высаживать вас придется с мотобота. Лучше бы с подлодки, но в тех условиях это дохлое дело. У острова сплошные банки¹ и почти восьмиметровая высота приливной волны. В проливах, кроме того, сильнейшие глубинные течения. Прет, как в трубу. Ну и мин они, конечно, набросали кругом. Так что лучше мотобота ничего не придумаешь. Осадка у него, как у корыта, пройдет хоть по мелководью, хоть по минным полям. Ход, правда, маловат, но, как говорится, тише едешь — дальше будешь. Старшина бота предупрежден. Он, кстати, толковый мужик, так что ты в случае чего прислушивайся. Вот такие пироги, старлей... Есть вопросы?

— Два. Связь и возвращение.

— Связь будешь поддерживать на волне восемьдесят пять. Но особенно не вылезай, засекут как миленького. Ну а снимать — снимем. Бот будет ждать вас через сутки от нуля до четырех вот у этого мыска. Но четыре — это крайний срок. Нужно управиться пораньше. Здесь хоть и недалеко, но если вас обнаружат — пиши пропало. Пойдете на дно и мама сказать не успеете. Что еще?

— Все ясно, — ответил Баландин, хотя в тот момент еще не представлял, как можно одним наскоком уничтожить и самолеты, и пушки.

— Тогда иди поспи, если можешь, а к тринадцати ноль-ноль чтоб как штык. Со всеми гавриками. И с пла-

¹ Банка — отмель.

ном. Тут у меня кое-какие соображения имеются, но и ты подумай. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Перед выходом все обмозгуем вместе.

Спать, конечно, Баландин не лег. Не до сна было. Сидел над картой, смолил сигарку за сигаркой, думал, прикидывал. В конце концов решил: действовать двумя группами. Одна взрывает пушки, другая тем временем разыскивает и уничтожает самолеты. В ходе операции, естественно, могли возникнуть неожиданности и осложнения, но здесь Баландин целиком и полностью полагался на тех, кто следующей ночью вместе с ним отправится в поиск. Досадовал же командир разведчиков лишь на то, что им не удастся «проиграть» операцию. Нет времени. И тут ничего не попишешь: если на все дадут только сутки — значит действительно припекло...

Утром Баландин построил взвод. Сказал, что надо. Вызвались чуть ли не все. А кто не вызвался, на тех косо не смотрели. Тут дело такое — добровольное. Трудно было отбирать. Но отобрал. А на радиста глаз поднять боялся, хотя и понимал: ничего тут не поделаешь. И оттого родилась в душе неприязнь к человеку, которого не знал и не видел, и когда тот пришел, Баландин встретил его хмуро и недоверчиво.

Новый радист был низкоросл. Защитная вылинявшая форма сидела на нем мешковато и нескладно, словно под ней было не живое человеческое тело, а муляж. Мятые погоны с засаленными лычками топорщились на плечах радиста как ненужные принадлежности, что вызвало особое недовольство Баландина.

«Куда с таким в тыл?! — раздраженно подумал он. — Нянчайся с ним там...»

Сгоряча Баландин решил немедленно отправиться

в штаб и со всей решительностью воспротивиться против такого назначения, но вовремя одумался. Тем временем новенький снял с плеч ящик с рацией, аккуратно поставил его рядом с тумбочкой дневального и вскинул руку к пилотке:

— Товарищ старший лейтенант! Сержант Одинцов явился в ваше распоряжение!

— Явился не запылится, — насмешливо откликнулся со своей койки наблюдавший за сценой Калинушкин. — Обмотки-то куда дел, пехота?

— Отставить, старшина! — оборвал Калинушкина Баландин. При всей несимпатии, возникшей у него к новому радисту, он не мог позволить, чтобы так, во всеуслышание, подрывали авторитет армии. К тому же Баландину неожиданно понравилась реакция сержанта на слова задиристого разведчика. Собственно, реакции никакой и не было. Сержант словно бы не расслышал реплики, и эта невозмутимость могла быть отражением некоторых особенностей его характера.

«А он не так уж и прост, — подумал Баландин, чувствуя, как помаленьку улечучивается его неприязнь. — Во всяком случае, на пустой крючок не клюнул».

— Располагайтесь, сержант, — сказал он. — Коек много, можете выбирать любую. Полчаса вам на все устройства, а потом поговорим о делах.

— Слушаюсь! — ответил радист и, подцепив с пола рацию, направился к дальней койке.

— Единоличничек, — тотчас же прокомментировал его действия Калинушкин. — Кулак тамбовский.

Баландин усмехнулся. Он знал, что Калинушкин не питает к радисту никаких определенных чувств, а ворчит в силу врожденной привычки. Правда, он знал и

другое: Калинушкина задело такое откровенное невнимание к его персоне, и теперь старшина будет при всяком удобном случае приставать к новичку. Но, судя по всему, удовлетворения он не получит.

Через час Баландин знал о радисте все. Самое смешное заключалось в том, что Одинцов действительно оказался тамбовским. И хотя в Тамбове он только родился, а всю жизнь прожил на Дальнем Востоке, совпадение было настолько поразительным, что Баландин засомневался: не пронюхал ли Калинушкин каким-то образом о некоторых подробностях биографии радиста? Но этого не могло быть, и Баландину оставалось только удивляться всегдашней удачливости пронырливого старшины.

Как бы там ни было, а свое открытие Баландин сохранил в тайне. Ибо, ⁶узнай о нем Калинушкин, кто знает, куда бы завела его непомерная гордыня...

Беседа с радистом успокоила Баландина. Одинцов оказался тертым калачом: воевал, прыгал в тыл с парашютом, имел награды. Настораживало Баландина лишь одно: по его мнению, Одинцов слишком восторженно отзывался о японцах и Японии. Конечно, сержанта можно было понять. Недоучившийся студент-японист, он радовался возможности увидеть кое-что своими глазами. Но понимал ли он всю сложность и ответственность операции?

В этом Баландин не был убежден, и, думая сейчас о радисте, он испытывал чувство некоторой неуверенности, которое не возникало у него, когда он думал об остальных...



2

Шорох. Как будто кто-то вкрадчивый и осторожный снаружи поскребся в борт. Так терлась шуга в Баренцевом море. Но также скреблись о корпус подводной лодки минрепы, когда осенью сорок третьего группу высаживали в Бек-фиорде.

Баландин подобрался. Легкое движение в кубрике подсказало ему, что остальные разведчики тоже оторвались от своих дум и прислушиваются к донесшемуся звуку. Камни? Топляк? Или, быть может, мина, и следующее прикосновение будет смертельным?

И снова шорох. И вслед за тем частые подрагивания корпуса. И скрежет уже под днищем, словно бот тащит по песку. Рифы. Стало быть, они уже у камней, и старшина лавирует среди них в кромешной тьме, полагаясь на нюх и везение. А им пока что остается ждать. Надеяться и ждать.

— Надеть пояса, — приказал Баландин.

Он подумал, что надо бы подняться в рубку и хотя бы своим присутствием помочь старшине, но сразу же отказался от своего намерения, вспомнив недавний разговор со старшиной и его упорное нежелание кому бы то ни было доверить руль. Этот человек был из тех, кто в минуты опасности надеется только на себя. И предлагать ему помощь — значит мешать.

Скрежет под ногами нарастал. Удары в корпус участились, потом бот содрогнулся и, покачиваясь, как будто завис на невидимом балансира, в следующую минуту соскользнув с него. Снова наступила тишина. Баландин понял, что они перескочили рифы. Теперь можно было идти в рубку.

— Полный марьяж, старлей! — встретил его старшина. — Готовь своих, на полчаса делов осталось. Вода хорошая, приткнуь прямо к берегу. Пять минут вам на все тары-бары. Мне еще назад столько же топать. Дай бог до света управиться. Не поспею — прямым ходом в рай угожу.

Баландин посмотрел на хронометр.

«Полчаса. Значит, в ноль пятьдесят. Самая темень. В такую темень никуда не сунешься — напорешься на мину или еще на какую-нибудь хреновину. Придется часа два ждать на берегу. Пока не посветлеет... Плохо, что они не знают обстановку. Очень плохо.

Хуже нет действовать вслепую. Чуть-чуть промахнешься — и все накроется...»

— Жарища, — проговорил старшина, — упарился, как мышь. — Он протянул руку и поднял смотровое стекло.

Гул океана заполнил рубку. Он казался однообразным лишь поначалу, в первые минуты; потом стали различимы по отдельности все шумы огромного океанского тела: тяжелые всплески волн, протяжные вздохи, прерываемые каким-то бульканьем и шипеньем, словно по соседству с ботом выпускали пары паровозы, далекие, похожие на орудийную канонаду раскаты.

— Повезло с погодой, — опять сказал старшина. — Кабы посылнее ветер — ни в жисть не подойти. Однако пора, старлей, берег скоро. Вон наверху темнеет, видишь? Скалы, должно.

Баландин нагнулся к стеклу.

Впереди была темнота, но, присмотревшись, он различил в ней еще более плотные очертания. Это действительно могли быть скалы.

— Наката не слышно, — сказал он.

— Ветер в задницу, — ответил старшина. — Относит. Иди, старлей, не сомневайся. Берег, я тебе говорю! Баландин спустился в кубрик.

— Смекаю, что приехали, командир? — поинтересовался Калинушкин.

— Правильно смекаешь. Быстро, ребята! Разбирай каждый свое — и наверх. Не торопись, сержант, — сказал он, видя, что Одинцов порывается протиснуться вперёд. — Сначала мы.

— Бережете? — с ехидством спросил Одинцов.

— Не тебя, дурья голова. Рацию, — ответил отку-

да-то из темноты Калинушкин. Даже сейчас он оставался верен себе — был насмешлив и беспечен.

Берег надвинулся, как зверь Апокалипсиса — неотвратимый, бесформенный, безгласный.

Сгрудившись у рубки, разведчики напряженно всматривались в него. Пока все шло без сучка без задоринки, но кто мог знать, что делается там, в темноте? Может быть, именно сейчас разворачиваются в их сторону стволы пулеметов и пушек, и чьи-то руки уже легли на гашетки и замки. А может, как не раз бывало, матово засветится над головой шар ракеты, раскромсает темень, и берег оживет от мертвой тиши и ударит в лицо огнем и громом...

Стали видны буруны. Теперь только двухсотметровая полоса прибоя отделяла их от цели. Бот подбросило, швырнуло вниз, закрутило. Но старшина был на чеку и не дал развернуть судно. С шипеньем разбрасывая волны, оно приближалось к берегу.

Толчок, клокотание воды за кормой, свистящий шепот из рубки:

— Пошел, ребята!..

Бесшумный прыжок Шергина, мгновенное раздумье Мунко. И снова шепот:

— Удачи тебе, старлей!..

Захлебывающиеся выхлопы дизеля, запах перегревшего соляра. Медленно и неуклюже, словно рептилия, бот сполз в море, и ночь поглотила его.

Шестеро остались на берегу.



3

На рассвете пошел дождь. Мелкий и частый, будто его просеяли сквозь сито. Он падал невесомо, с монотонным шуршанием, покрывая лица и одежду серебристо-тусклой холодной пылью. Завернувшись в маскхалаты, разведчики сидели среди валунов, сами похожие на камни своей неподвижностью. В сумраке полурассвета серебрили лица с темными впадинами закрытых глаз.

Часы показывали три. Надо было уходить с берега. Баландин подкрутил завод часов и тронул за плечо сидевшего рядом Шергина. Тот сразу от-

крыл глаза, секунду смотрел на Баландина, потом неуловимым движением перекинул к нему свое могучее, свитое из одних мышц тело.

— Пора, Влас. Поднимай ребят.

— Они не спят, командир.

— Взрывчатка не отсыреет? Дождь, кажется, зарядил на весь день.

— Все в норме. Своими руками увязывал.

— Тогда двинулись. А то валяемся, как котики на лежбище, подходи и бей палкой.

— Местечко невеселое, что и говорить...

Это было опасно — пересекать открытый, просматриваемый со всех сторон пляж, заваленный камнями и плавником. Ноги срывались с ослизлых бревен и обкатанных водой голышей, и разведчики продвигались медленно, часто останавливаясь, прислушиваясь и приглядываясь к застойной рассветной тишине. Неясное движение мнилось в густой тени нависших над головой скал; валуны казались фигурами людей. Невдалеке маячил темный обрывистый берег, и они спешили к нему, чтобы укрыться в его лощинах и гребнях.

Пляж кончился; глазам предстала узкая, идеально ровная, как нейтральная полоса на границе, песчаная лента — верхний урез воды, на котором не росло ни былинки. Любой предмет на песке отпечатывался словно на фотографии. Один за другим, гуськом, они перешли полосу, а потом тщательно заровняли песок.

Обрыв был рядом — гигантский срез, на котором видны были напластования и птичьи норы, источившие серо-коричневый твердый грунт. Наверху обрыва плотной стеной стояла мокрая от дождя трава. По болотистому непропуску они поднялись на обрыв. И остано-

вылились: в пяти шагах из травы высывалась ржавая сеть колючего ограждения.

— Физкульт-привет! — сказал Калинушкин.

Картина была знакомая. Такая проволока опоясывала весь земной шар, и было бы чудом не встретить ее здесь. Они молча разглядывали проволоку. По виду безобидная, напоминавшая засохшие стебли дикой розы, она наверняка таила в себе разного рода сюрпризы. Задень ненароком один из шипов — и где-нибудь в километре отсюда зазвонит звонок. А может обойтись и без звонка: сработает замаскированная ловушка, и от человека останутся воспоминания. По части таких ловушек великими мастерами были немцы.

— Понакрутили, в гробу я их видел, — с расстановкой сказал Рында.

— А ты думал, тебе парадный трап вывалят? — усмехнулся Калинушкин.

— Полундра! — остановил их Шергин. — А ну сбавь обороты!

— Давай, Ваня, — сказал Баландин.

Он не стал торопить Рынду и напоминать ему о том, что скоро совсем рассветет и тогда их могут заметить, — разведчик знал это и без него. Развязав мешок, он уже доставал из него штангу миноискателя. Состыковав трети, Рында подсоединил к штанге рамку, надел наушники. Затем повернулся к товарищам, махнул рукой.

— Ложись! — приказал Баландин.

Теперь все зависело от Рынды, от его умения и осторожности. Все, вся операция. И, следя за тем, как он приближается к проволоке, Баландин страстно желал, чтобы слепая судьба на этот раз прозрела.

Минуты шли. Светлело все заметней. Мир обретал привычную форму: трава перестала казаться лесом,

а камни на берегу — людьми. Где-то пискнула пичуга, ей отозвалась другая. Потом они с порханием вырвались откуда-то и, едва различимые, закачались на упругом стебле. Из травы послышался характерный хруст — Рында резал проволоку. Пичуги вздернули хвосты, но не улетали. Неожиданно для себя Баландин загадал: если он просчитает до десяти и пташки не упорхнут — все будет хорошо. Он начал считать не торопясь, стараясь быть честным. Хруст не смолкал, пичуги тревожно крутили головами. Заканчивая счет, Баландин для верности выдержал паузу, но птички продолжали раскачиваться на стебле. И когда они все-таки улетели, он проводил их благодарным взглядом, словно удача и в самом деле зависела от каприза этих пернатых существ.

Хруст прекратился — видно, Рында уже сделал проход и теперь шарил миноискателем на той стороне заграждений.

«Еще пятнадцать минут, — думал Баландин. — Если через пятнадцать минут Иван не закончит, мы влипли. Будет светло как днем. Нас запеленгуют с любой сопки. Правда, дождь расходится и работает на нас, но все равно надо закончить через пятнадцать минут. Потому что за «колючкой» — как пить дать траншеи. А их при свете не проскочишь...»

Подполз Рында. Он был перемазан землей, как проходчик.

— Готово, командир...

Через десять минут они лежали в ложинке за проволокой. Пелена дождя застилала все вокруг, и это радовало Баландина: у них появились шансы проскочить траншеи с ходу. Но сначала требовалось выяснить, где они и как охраняются.

— Мунко! — позвал он.

Ненец подполз, проворный, как ящерица.

— Траншей, — сказал Баландин.

Скуластое, темное лицо Мунко ничего не выразило. Он скинул со спины мешок и тенью скользнул в траву. Она сомкнулась за ним, как вода за ныряльщиком.

И снова ожидание — тягостное и мучительное, когда можно лишь гадать, чем обернутся события. Впрочем, предпосылки для оптимизма имелись. И довольно весомые. Во-первых, думал Баландин, японцы вряд ли серьезно относятся к мысли о заброске кого бы то ни было на остров. Скорее всего такая возможность кажется им невероятной. Они слишком уверены в своей недосягаемости, чтобы думать о диверсантах. Военное нападение, десант, налет авиации, наконец, — это еще куда ни шло. Но только не диверсанты. Однако война идет, и с этим нужно считаться. Готовность, конечно, повышенная, иначе и быть не может. Во-вторых, погода. В такую слякоть никому не хочется лишний раз высываться наружу. Тем более сидеть в окопах. Часовые? Часовые, разумеется, стоят. Но часовые были и у немцев... В-третьих, Мунко. Здесь почти стопроцентная гарантия. Ненец — прирожденный пластун и следопыт. Если понадобится, пролезет в игольное ушко. Правда, от случайностей никто не застрахован, но шансов на то, чтобы остаться незамеченным, у Мунко больше.

Словом, тактическая обстановка Баландина обнадеживала. Зато отдаленные перспективы представлялись ему скрытыми мраком неизвестности. Танкер, самолеты... Ладно, танкер — на худой конец им известно, где он. А самолеты? Их еще надо отыскать на острове и что-то сделать, чтобы они не взлетели. Что? Взорвать? Сжечь? Но разведчиков только шестеро. Двое, как ми-

нимум, займутся танкером. Радиста можно не считать, его дело рация. Значит, трое. Почти ничего, если учесть, что самолетов не один и не два. А в запасе всего лишь ночь. Одна ночь, потому что днем все равно ничего не сделаешь. Днем хорошо бы поспать. Хотя бы часа два. И поесть — сил им понадобится много...

Появился Мунко — бесшумно и внезапно, будто снял с головы шапку-невидимку.

— Что, Мунко? — нетерпеливо спросил Баландин.

— Траншеи. Две. Солдат нет. Был часовой.

— Был?! — Баландин невольно бросил взгляд на пояс ненца, на котором в костяных ножнах висел нож. — Ты снял часового?!

Картина, которую он себе представил, была ужасна: убитый часовой, которого — прячь не прячь — обнаруживают, суматоха, разрезанная проволока, облава...

Глаза Мунко сузились еще больше:

— Дождь. Холодно. Часовой ушел, командир.

Раскаиваться было поздно. Холодок в голосе Мунко не оставлял сомнений: ненец обиделся. А кто бы не обиделся? Хорош командир: подумать, что такой опытный разведчик, как Мунко, мог убить часового и подставить их под удар! Но и Мунко тоже хорош — бухнул так, словно дело уже сделано. Тут кто хочешь схватится за голову... Значит, часовой ушел... Неплохо, неплохо. Похоже, японцы и в самом деле не ждут гостей, если часовые разгуливают как хотят. Но радоваться рано. Часовой как ушел, так и придет — не станет же он до конца смены торчать в блиндаже. За такие дела по головке не гладят. Так что нужно считать, что часовой на месте, и не надеяться на сладкую жизнь...

Часовой действительно был на месте — они убедились в этом, едва разглядели траншею. Он стоял непо-

движно, как пугало на огороде, и штык тускло поблескивал у него над головой. И хотя Баландин был готов к такому продолжению, в нем закипела злоба на часового.

«Черт бы тебя побрал, дурак прилежный, — с ненавистью думал он. — Выставился! Не мог еще пять минут посидеть в своем вшивом блиндаже!..»

Но часовому было ровным счетом наплевать на эти проклятия. Он стоял в прежней позе и даже не догадывался, что родился под счастливой звездой, ибо те, кто мог умертвить его в мгновение ока, больше всего на свете не хотели этого. Шепот Мунко почти слился с шелестом дождя:

— Там поворот, командир...

Путь до него показался шестерым вечностью. Траншея поворачивала почти под прямым углом, и за выступом они могли скрыться от часового.

Мунко первым спрыгнул на дно. Вытащив нож, он встал на повороте, прильнув к стенке траншеи, не сводя глаз с часового. Помогая друг другу, разведчики спускались в траншею. С обеих сторон в нее выходили двери блиндажей, и каждая из дверей могла в любой момент распахнуться.

Шергин еще оставался наверху, когда разведчики услышали тихий возглас Мунко:

— Командир!

Баландин одним прыжком встал рядом с немцем, осторожно выглянул. Сердце заколотилось где-то у горла: часовой медленно шел по траншее, серо-зеленый и неясный, как призрак.

«Заметил? Нет, идет будто на прогулке. Надоело стоять на одном месте. Дойдет или остановится?..»

Часовой не останавливался. До него оставалось де-

сять метров. Восемь. Пять. Сейчас он дойдет до угла и увидит... Нет, он ничего не увидит, потому что раньше умрет...

Мунко отвел руку с ножом, готовый метнуться и ударить. Но не метнулся, удивленно глядя на Одинцова, который вдруг шагнул вперед и, пошатываясь, пошел навстречу часовому.

— Томарэ! ¹ — громко и испуганно сказал тот.

— Нани о донаттэ иру ка? ² — ответил Одинцов. И Баландин не узнал его голоса.

— Тосиро, омаэ ка? ³

— Кутабарэ! ⁴ — грубо сказал Одинцов. Согнувшись пополам, он уперся рукой в стенку, и разведчики услышали такой звук, будто заклокотала засорившаяся раковина. Что-то с громкими всплесками полилось на землю.

— Коно яро, мата пондэ кита на! ⁵ — брезгливо сказал часовой. — Соко ни кисама но као о цукондэ яри-тай! ⁶ — Он повернулся и пошел назад.

Одинцова продолжало рвать. Его прямо-таки выворачивало. Ошеломленные разведчики стояли не дыша, и когда Одинцов вернулся к ним, ни у кого не нашлось слов.

— Скорее! — сказал радист, пряча за пазуху пустую фляжку. — Пока этот чистюля не вернулся.

Они помогли спуститься Шергину и быстро пошли в дальний конец траншеи, над которым нависал спасительный полог еще вовсю зеленой травы.

¹ Стой!

² Чего орешь?

³ Это ты, Тосиро?

⁴ Иди к черту!

⁵ Опять нажрался, вонючий дьявол!

⁶ Мордой бы тебя в это дерьмо!

Они шли уже больше часа — молча, ступая след в след, как лоси, идущие на водопой. Впереди Мунко, за ним остальные: Баландин, Одинцов, Рында, Калинушкин, Шергин. Последний — тяжеловесный и громадный, с резиновой надувной лодкой за плечами — и впрямь напоминал матерого лося-самца, замыкавшего строй, охранявшего его от всех превратностей и случайностей.

Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч; его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, не озарив ее тайн, красот и бедствий.

Странный и чудесный мир расстился вокруг, и они с удивлением и несмелой радостью, от которой давно отвыкли и которая, как упорный росток, пробивалась сейчас наружу, смотрели на этот мир: на траву выше их роста, блестящую от дождя и трепетавшую от каких-то тайных внутренних содроганий; на гигантские папоротники и хвощи, непривычные и чуждые глазу, будившие смутные воспоминания о миллионолетних бессловесных эпохах, о гадах в морях девона, в чьих неповоротливых мозгах уже созревала дерзостная мысль о переселении в иную юдоль; на невиданные цветы, тяжелые головки которых тускло мерцали под темными и влажными сводами стоявшей, как лес, травы.

В этом мире не было и не могло быть зойны. Храмы не оскверняют, а это был храм тишины, спокойствия и высоких дум, и мысли каждого из шестерых возвращались к тому высокому, что было в их жизни и что не состоялось; что выражало ее средоточие и смысл; от чего пронзительной и светлой печалью занимались сердца и одухотворялись лица.

И каждый из шестерых старался подольше удержать в памяти дорогие картины, словно предчувствуя наступление той ночи, во тьме которой померкнут краски, растворятся звуки, исчезнут лики, образы — все...

Приноравливаясь к валкому, скользящему шагу Мунко, Баландин старался не сбиться с ритма и время от времени незаметно поглядывал на компас. Но всякий раз убеждался, что его опасения напрасны: Мунко вел отряд как по нитке. Способность ненца вслепую выдерживать маршрут вызывала изумление.

Вспоминая прошлое, возвращаясь к временам трехлетней позиционной войны на Севере, Баландин пытался припомнить хоть один случай, когда бы Мунко ошибся. Бессменный проводник разведчиков, ненец всегда оказывался на высоте. В пургу ли, в туман, которым так славится теплое Кольское побережье, летом и зимой Мунко находил дорогу, как находят ее вожаки птичьих стай, и беспокойство Баландина было лишь данью опыту городского жителя, привыкшего на каждом шагу встречать стрелки и указатели. Всерьез же Баландин думал лишь об одном — об отдыхе.

Нагруженные взрывчаткой, продуктами и оружием, не спавшие уже больше суток, вымокшие и грязные, разведчики представляли невеселое зрелище. А основные события ждали их впереди, и вопрос об отдыхе, хотя бы кратковременном, становился насущной необходимостью.

Но пока Баландин откладывал его осуществление. Оглядывая открывавшуюся за очередным поворотом местность, он не находил мало-мальски пригодного угла, где бы можно было расположиться и со спокойным сердцем поспать. Он грезил о бастийоне, о неприступной

Бастилии, а кругом была только трава. Высокая, густая, годившаяся разве что на силос. Поэтому, когда Муико вдруг согнулся и полез куда-то вниз, Баландин понял, что им в конце концов повезло.

Он не ошибся.

Глубокая и узкая котловина — классический средне-русский овраг, по глинистым склонам которого журчали ручьи, тянулся на добрую сотню метров. Все та же трава росла на дне котловины, но не это было главным. Бастионы существовали! Ибо только так можно было назвать высокую, вдававшуюся в овраг площадку, крутые бока которой напоминали своей монолитностью башню. Заросли корявого и прочного кустарника не хуже спиралей знаменитых МЗП¹ преграждали подступы к площадке. При случае здесь можно было задержать полк.

С трудом выдирая ноги из ветвей кустарника, они поднялись наверх и по краю оврага прошли на площадку. И лишь теперь в полной мере оценили ее достоинства: открывавшийся с высоты обзор, идеальную скрытность и потенциальные возможности площадки как позиции.

— Шабаш!² — сказал Баландин.

И это знакомое любому моряку слово напомнило им многое: довоенный Кронштадт, могучие обводы стоящего на рейде «Марата», ряды шлюпок на воде, над планширами которых отлаженно и четко, как звенья коленчатого вала, мелькают обнаженные торсы гребцов, бешеный темп, кипенье воды под форштевнями, лес вски-

¹ МЗП — малозаметные препятствия. Проволочные, хитроумно сплетенные спирали.

² «Ш а б а ш!» — одна из команд, подаваемых во время шлюпочных гонок.

нутых на валеке весел, с которых в лицо летят брызги, толпы людей на набережных...

— Да-а, — протянул Калинушкин, стаскивая с плеч вещмешок, — была жизнь, командир... Эх, помню в Петергофе! Придешь в парк, а там — мама родная! — ну все тебе: и раки, и воблушка, и лучшее в мире пиво под названием «бочковое». Сядешь за столик, а кругом фонтаны и девушки в белых платьях. Сидишь как у Христа за пазухой! Помнишь, Влас?

— Насчет Христа не знаю, а уж девушек ты не пропускал! Тебя медом не корми — дай за коленочку подержаться, — засмеялся Шергин.

— Где уж нам, — скромно сказал Калинушкин. — Мне бы вашу комплекцию, Влас Зосимович! А я, что? Как говорил командир нашего славного «бобика»: семь лет на флоте и все на кливершкоте...

Хитрый разведчик явно приbedнялся. Он как раз не принадлежал к категории тех людей, относительно которых была сложена поговорка, но, как всякий везунчик, любил иногда поплакаться и повздыхать. Если же следовать истине, то многие женщины довоенного Кронштадта так или иначе принимали участие в судьбе Калинушкина.

Знакомые у него имелись во всех сферах. Официантки бесплатно кормили его. В ларьках ему отпускали пиво в кредит. Медсестры в санчасти выписывали освобождения по любому случаю. И даже на гарнизонной гауптвахте уборщица снабжала его папиросами. Женщинам нравился отзывчивый и веселый нрав Калинушкина, и они тянулись к нему. Им казалось, что без их хлопот и ухаживаний Федор пропадет. Он не разубеждал их, принимая заботы как должное. Наверное, многие женщины любили его и мечтали прибрать к рукам,

но от семейных уз Федор шарахался, как необъезженный жеребец от упряжи. Так он был создан. Постоянство тяготило его; женщины это чувствовали и прощали ему все измены и увлечения.

Лишь один раз Калинушкин чуть не влюбился. Она работала билетершей в горсаду, а ему как раз понадобились билеты на аттракцион. Он пришел в горсад с друзьями, они стояли позади и жаждали прокатиться на самолетах.

Деньги у Калинушкина были, но он хотел еще раз продемонстрировать друзьям свою неотразимость. И попросил билеты в кредит. Она отказала. Слова оправдания в данном случае никакой роли не играли: за спиной стояли «кореша», которые могли стать свидетелями его поражения. Калинушкин не колебался ни секунды. Окошечко в кассе было узкое, а плечи у Федора — широкие. Он загородил ими кассу и, отстегнув часы, протянул их в окошко. Она посмотрела на него и вернула часы вместе с билетами. Вечером он провожал ее. Они шли по гулкой булыжной мостовой, и он вдохновенно рассказывал ей о пассатах и муссонах, о шквалах и альбатросах в грозовых тучах, о смуглолицых женщинах далеких южных морей. В подъезде он сделал попытку поцеловать ее, но она вырвалась и убежала.

Их роман длился ровно три недели. Дождаться воскресений у Калинушкина не хватало сил, и он ходил в «самоволку». За это полагалось двадцать суток ареста с содержанием на гауптвахте, но Федор рисковал не задумываясь.

Но однажды он встретил ее в парке с курсантом. Наверное, у нее ничего не было с тем парнем, но «измена» смертельно обидела Калинушкина. Он назвал курсанта салагой и толкнул его. Курсант не знал о гром-

ких титулах Калинушкина и полез в бой. Нокаут последовал на первой минуте. Вспоминая потом эту историю, Калинушкин во всем винил соблазнителя-курсанта. А что касается девушки, то он признавался, что она ему действительно нравилась...

Зная по опыту, что сейчас начнутся душещипательные воспоминания, Баландин сказал:

— Разговорчики отставить! Пятнадцать минут на прием пищи — и спать. Всем. Дежурить буду я. Подъем — в двенадцать ноль-ноль.

Когда ели, Калинушкин, отправляя в рот румяный кусок американской колбасы, спросил:

— А правда, командир, что союзники ее из опилок делают? Мне один баталер¹ в Питере травил.

— Не правда, — ответил Баландин. — У твоего баталера в голове опилки.

— Я ему то же сказал, а он мне загнул что-то насчет круговорота элементов в природе. В будущем, говорит, все будет делаться из подсобного материала. Лежит доска, к примеру. Ты ее в аппарат особый. Кнопку чик — получай бифштекс с кровью. Даже водку, говорит, из нефти делать станут. Тут уж я натурально не поверил.

Одинцов засмеялся.

— Про колбасу поверил, а про водку нет?

Калинушкин, как конь, повел на радиста фиолетовым огненным глазом.

— Колбаса, серый ты человек, для желудка. Он гвозди переваривает. А водка для души. С нее и спрос особый. Хотя для кого как. Для тебя небось лучшая рыба — колбаса, а, пехота?

¹ Баталер — матрос хозяйственной службы.

— Угадал. Дают — не мохаю и ем не охаю, — ответил Одинцов, игнорируя выпад Калинушкина. — Очень даже полезный продукт.

— Продукт! — передразнил Калинушкин радиста. — Ты еще про мануфактуру вспомни! До чего ж ты скучный человек, сержант, ну прямо божья коровка!

Чтобы остановить готовую вспыхнуть перепалку, Баландину пришлось опять применить власть командира.

— Спать! — приказал он. — А по тебе, Федор, «губа» плачет. Давно не сидел? Могу похлопотать, когда вернемся.

— Данке шён, командир. У начальства всегда так: чуть что — сразу «губа». Как будто нет других методов воспитательной работы...

Но вскоре все затихло на площадке. Никакие труды и потрясения не могли заглушить в молодых организмах потребность в отдыхе, и, разморенные сытной едой и навалившейся усталостью, разведчики уснули. Их сон был непродолжителен, но глубок, и это краткое отдохновение, это недолгое пребывание на грани реальности и небытия восстановило их силы и приблизило к событиям, которым уже был задан ход, которые назревали медленно, но неотвратимо.



4

В бинокль танкер был виден как на ладони.

Зажатый рифами, он лежал с небольшим дифферентом на корму, отчего казалось, что судно пытается и не может вытащить из воды свое громоздкое железное тело. Над танкером ярусами кружились чайки. Время от времени они устраивали на воде баталии из-за какого-нибудь огрызка, брошенного с борта, и поднимали такой крик, будто их уже настиг день страшного суда. Потом птицы успокаивались, вновь взмывали в воздух, усаживались плотными рядами вдоль

бортов, не обращая внимания на спящих по палубе людей. Война сюда еще не дошла, и птицы были непуганы.

Баландин подрегулировал резкость.

Итак, четыре пушки: две на носу, две ближе к корме. Пулеметы на мостике не в счет, с ними можно разделиться походя. Главное — пушки. Интересно, какой калибр они поставили? Кажется, неплохо видно, но точно не определишь. Здешний воздух так пропитан водой, что даже цейсовские линзы отпотевают, как обыкновенные стекла. Сотки? Вряд ли. Сотка — это уже внушительное орудие, и ее надо ставить основательно. Скорее всего — семидесятипятимиллиметровки. Или даже сорокапятки. Что ж, батарея таких пушек, вынесенная на три мили в море, совсем неплохо. Действительно, не дурак придумал. Начальник разведки прав: авиации здесь делать нечего. При такой погоде и плотности зенитного огня с берега шансы на прицельное бомбометание практически равны нулю. Батарея угробит самолеты... И ведь как стоит, стерва, — точно на пути десанта! Ни с какой стороны не обойти, расколошматит из пушек за милую душу...

Баландин опустил бинокль и обвел взглядом лежавших рядом разведчиков. Они тоже разглядывали танкер — Шергин упорно, не отрывая бинокля от глаз; Калинушкин, наоборот, то и дело протирает линзы; лицо Ивана Рынды выражало почти детскую заинтересованность; Одинцов смотрел в окуляры, не прислоняя бинокль к лицу, словно следил за представлением в театре; один Мунко, как видно, не доверял технике, полагаясь на дальнозоркие рысьи глаза, — бинокль болтался у него на груди.

Кого послать? Впрочем, едва оформившись, вопрос

уже звучал риторически. Роли были распределены давно, но Баландину нужна была пауза, чтобы еще раз и окончательно утвердиться в правильности выбора и сказать об этом вслух. Пойдут, конечно, Влас и Калинушкин. Лучше их никто не сделает того, что предстоит сделать. Шергин с его силой при необходимости голыми руками согнет орудийное дуло, а сверхреакции Федора завидовали в свое время все флотские боксеры. Подрывное дело оба знают как таблицу умножения, и ко всему прочему — закадычные друзья. Все правильно, Влас и Калинушкин.

Баландин положил бинокль на камень перед собой и знаками подозвал обоих разведчиков. Когда те подползли, спросил, кивая на танкер:

— Как думаете, какие там пушки?

— Трехдюймовки, — тотчас отозвался Калинушкин. Это было в его манере — говорить и действовать так, словно он находился на ринге, где на размышление даются доли секунды.

— Точно, — подтвердил Шергин. — Большие без хорошего фундамента не поставишь.

— Вашими бы устами... — усмехнулся Баландин, довольный, однако, тем, что мнение разведчиков совпадает с его собственным. — Значит, говорите, трехдюймовки? Я тоже так думаю. А теперь давайте кумекать вместе. — Баландин помолчал, собираясь с мыслями. — На танкер пойдете вы. Сейчас полный прилив, так что время на размышление у вас есть. Готовьте лодку, заряды, кошки¹. С отливом двинетесь.

— Вопросов нет, командир. Есть предложение. — Калинушкин, как примерный ученик, поднял руку.

¹ Кошка — небольшой четырехпалый якорь с тросом.

— Давай.

— До отлива, командир, что до морковкина загоненья — шесть часов. А там темень как в канатном ящике. На нашей галоше шибко не разбежишься, в темноте зальет того гляди. А чуток просчитаешься — вовсе в море унесет. Вот я и думаю: может, пораньше отчалить? Часиков в восемнадцать. Как раз и темнеть начнет. В такую хлябь нас ни один дальномер не засечет, ручаюсь как представитель бэчэ четыре¹.

— Хорошо, — сказал Баландин, — кладем полтора часа на всю дорогу. Значит, к двадцати часам доберетесь. А там что будете делать? Возле танкера болтаться или, может, сразу к японцам ползете?

— Зачем к японцам, командир? Вон на том камушке отлежимся. — Калинушкин показал на хорошо различимую глыбу, торчащую из воды в кабельтове² от танкера, размером и формой напоминающую ту, на которой стоит в Ленинграде конный Петр. — Оттуда в любой момент в гости собраться можно.

Баландин задумался.

План Калинушкина был очень неплох. Действительно, вместо того, чтобы нырять в темноте на утлой лодчонке, можно было простым способом снять этот вопрос с повестки дня. Единственная угроза — что лодку заметят. Опять риск? А что лучше: ожидание опасности, которую предвидишь, или полное неведение? К тому же Калинушкин прав: дождь, видимость нулевая. Разглядеть крохотную шлюпку будет трудно. Все равно что искать иголку в стогу.

— Влас?

¹ БЧ-4 — четвертая боевая часть на корабле, наблюдения и связи.

² Кабельтов — морская мера длины, около 185 метров.

— Чего думать, командир! Федор в яблочко попал.

— Заряды связать успеете?

— Черта свяжем, не то что заряды!

«Ну вот, — подумал Баландин, — вот и начинается. Сколько раз уже это было? Не вспомнить. И все равно чувствуешь себя как на вышке, с которой нужно прыгнуть».

Он отчетливо представлял себе все трудности, которые ожидали Шергина и Калинушкина.

Нелегко будет добраться до танкера. Волна поряточная, потом еще рифы перевалить надо. А там — танкер, железный скользкий борт. Не по трапу подняться. И за спиной автоматы и взрывчатка. Правда, на Севере было и потруднее, когда доты с моря брали. Из воды — и прямо на скалы. Как альпинисты. Егеря генерала Дитля остались тогда с носом... Когда японцы выставляют часовых? По логике — с темнотой. Значит, часов с девятнадцати. А сменяют? Через два часа? Три? Гадай не гадай — не узнаешь. Надо прикинуть оба варианта. И сколько их, этих часовых. Двое? А если больше? В общем, как всегда, уравнение со многими неизвестными...

Калинушкин и Шергин вязали заряды. Брали толстые шашки, связывали их по десять штук, вставляли внутрь капсули. Вес зарядов получался солидным — пуд.

Четырехсотграммовые шашки, похожие на куски хозяйственного мыла, в руках Шергина казались детскими кубиками. Привыкший возиться с разного рода узлами и канатами, боцман работал споро, изредка бросая недовольные взгляды на Калинушкина, который, обычно сноровистый и разворотливый, на этот раз еле-еле ш-

велил руками. Такое положение вещей добросовестного Шергина не устраивало, и он наконец не вытерпел:

— Чухайся, Федор, чухайся! Не картошку на камбузе чистишь.

Калинушкин посмотрел на друга безмятежным, обезоруживающим взором.

— Ты в судьбу веришь, боцман? — неожиданно спросил он.

— Здрасьте, я ваша тетя! Это тебе зачем?

— Да так, для общего кругозора. Вдруг шлепнут? Так и не узнаю вашего отношения к тайнам природы.

— Я тебе шлепну! — разозлился Шергин. — Я тебя так шлепну, что ни одна санчасть не склеит!

— А все-таки? — не отставал Калинушкин. — Веришь или нет?

— Не верю. И тебе не советую... Ну куда ты капсюль суешь! Куда, я тебя спрашиваю?!

— А хоть бы и посоветовал, — невозмутимо продолжал Калинушкин. — Мне цыганка в Керчи нагадала, что я в двадцать пять лет мослы отброшу. Как видишь, третий год в женихах переживаю.

— Чего тогда треплешься? «Шлепнут», «шлепнут»!..

— К слову пришлось. Жалко, если дуба врежем. Молодыми и красивыми.

— Тьфу! Дурак был, дураком и остался! На кой ляд ты тогда мелким бесом перед командиром юлил? Боялся, что не возьмет, вспомнит, как ты в Бек-фиорде выпендривался?

— Дробь¹, боцман! Был грех, правда, боялся. Командир, сам знаешь, скажет — и точка. А куда я без вас?..

¹ «Д р о б ь!» — команда, означающая прекращение огня.

— Ну и не чирикай. Тебя за хвост не дергают, ты и не чирикай.

Негромкий свист прервал их разговор. Разведчики переглянулись.

— Мунко, — сказал Шергин. — Стряслось что-то.

Пригибаясь, они нырнули в заросли и через минуту были на площадке. Все, кто находился там, сгрудившись, напряженно всматривались в противоположный конец оврага.

— Что, командир?

Баландин молча показал рукой вниз.

Раздвинув траву, Шергин и Калинушкин посмотрели в образовавшийся просвет. В нем, как в прицеле, четко обозначилась фигура человека. Балансируя руками, человек осторожно спускался по скользкому склону в овраг.

— Солдат, — прошептал Мунко, чьи зоркие глаза уже разглядели то, чего еще не видели остальные.

Солдат с грехом пополам одолел склон и теперь шел по дну оврага. Из травы виднелись лишь его плечи и голова.

Баландин сомневался всего мгновение. Такой случай упускать было нельзя. «Язык» сам шел в руки.

Мунко глядел выжидающе. Баландин кивнул. Ненец снял с пояса свернутый в кольца аркан и скользнул в траву.

Солдат уже прошел половину оврага и приближался к тому месту, где, поворачивая, тропинка упиралась одной стороной в подножие площадки и где, они знали, его поджидал Мунко. Теперь разведчики видели солдата хорошо — от обмоток до какой-то легкомысленной шапочки на голове. Солдат был безоружен, а в руках нес что-то похожее на обыкновенную уздечку.

— Тоже мне, жокей! — хмыкнул Калинушкин. — Иди, иди, сейчас Мунко заделает тебе козью морду!

Они не видели ненца, взмаха его руки: просто из травы вылетела стремительная серая змея и упала на плечи солдата. Он рухнул как подкошенный и отчаянно забился, пытаясь сбросить с шеи аркан. Но Мунко не давал ему слабину и уже подтаскивал к себе солдата.

— Помогите, Влас, — сказал Баландин.

Шергин юзом скатился с площадки.

— Кино, — сказал восхищенно Калинушкин. — Раздва — и ваших нет. Ковбой, а не человек! Командир, мои сто грамм — Мунко. Премия от Балтфлота.

Отдуваясь, на площадку поднялся Шергин. На руках он, как ребенка, нес скрученного арканом солдата. Во рту у пленного торчал кляп — кусок его же обмотки. Черные раскосые глаза солдата были открыты. Он переводил их с одного разведчика на другого — без страха, скорее с удивлением.

— Выньте у него эту тряпку, — велел Баландин.

— Заорет, командир, — усомнился Рында. — Пусть немного очухается.

— Заорет — по кумполу, — сказал Калинушкин, недвусмысленно подбрасывая на ладони гранату.

— Выньте, — повторил Баландин. — Развязывать пока подождем, а портянку выньте.

Кляп вынули и усадили пленного поудобней.

— Спроси у него, кто он такой, — сказал Баландин Одицову.

Радист перевел пленному вопрос. Тот повертел шеей, на которой уже вспухал сине-багровый рубец, потом быстро заговорил. Разведчики как один уставились на радиста, следя за выражением его лица. Только Мунко

сидел на корточках в отдалении и лениво посматривал по сторонам. Пленный замолчал. Одинцов спросил еще о чем-то и повернулся к Баландину. Он был явно растерян.

— Это не японец, товарищ старший лейтенант. Кореец. Его зовут Ун Да Син. Он ездовой. А здесь искал лошадь.

У разведчиков вытянулись лица, а Шергин даже плюнул с досады. Нестроевой пленный, конечно, не был подарком. Ладно бы писарь, штабист какой, а то — ездовой! Что он мог знать, кроме сена и лошадей?

— Я же говорил — жокей, — презрительно сказал Калинушкин. — Он и весит-то тридцать два с пистолетом!

«Да, не повезло, — подумал Баландин. — На кой черт нам этот коноух?»

Но все равно спросил:

— Знает ли он, где самолеты?

Выслушав Одинцова, пленный утвердительно кивнул. Кивок был понятен и без перевода, и разведчики посмотрели на пленного уже с интересом.

— Плакали твои сто грамм, Федор.

— Шут с ними, командир! Я этому эскимосу Мунко и закуску бесплатно выставлю!

Пленный снова заговорил — возбужденно, пробуя даже жестикулировать.

— Развяжите его, — приказал Баландин.

Одинцов едва успевал переводить:

— Самолеты недалеко, километрах в восьми. Там озеро. Пятнадцать машин. Летчики живут там же, в казарме. Все они — камикадзе. Ун Да Син часто бывает там. Возит летчикам продукты и белье. Он ненавидит японцев. Они убили его брата. Это было еще до войны,

когда строились укрепления на островах. Их строили китайцы и корейцы. Потом рабочих уничтожали — вывозили ночью в море и топили. Ун с братом работали на соседнем острове. Весь их отряд тоже утопили. Четыре тысячи человек. Ун спасся чудом. Его подобрала в море рыбаки. Так он попал сюда. У него не было ни документов, ни жилья, и он стал батраком. Потом пошел в армию вместо сына хозяина. Он не мог отказаться: хозяин грозил его выдать. Тогда бы Уна расстреляли.

— Ничего себе житуха, — сказал Калинушкин. — Либо к рыбам на корм, либо к стенке. Ну и паразиты!

— Самурай, он самурай и есть. Сам себе кишки выпускает не то что другому. Фашист, в общем, — заключил Рында.

Разведчики замолчали, глядя на пленного с откровенной жалостью. Даже они, сами убивавшие и видевшие убийства, были поражены жестокостью услышанного. Молчал и пленный. Его руки нервно шарили по одежде, а по смуглому, отмеченному печатью страданий лицу пробегали мгновенные судороги. Казалось, корейца терзают какие-то тайные видения.

— Как охраняются самолеты? — прервал Баландин молчание.

— Хорошо. Кроме летчиков, на озере расположен караульный взвод. Пулеметы на вышках. У плотины — в дотах.

— Плотина?

— Да. Там есть плотина.

Баландин едва сдержал радость. Плотина, плотина... Это уже было кое-что. Вернее — все. План отчетливо складывался в голове.

Самолеты уничтожать не придется. Нет надобности

жечь или взрывать эти летающие лодки, когда можно взорвать плотину. Уровень озера упадет, и самолеты обсохнут, как киты на отмели. Впрочем, обязательно ли взрывать? Раз существует плотина, существуют и шлюзы. Это элементарно. И стало быть, их можно открыть. Вопрос — какие шлюзы? Плотина скорее всего самодельная. Значит, и шлюзы простейшие. Клинкеты. Обыкновенные задвижки и шпиндели. Тоже элементарно, как закон Архимеда. Но здесь-то и зарыта собака. Допустим, откроем клинкеты. Ну и что? Ну потечет водичка и будет течь до второго пришествия. А дальше? Озеро большое, за час не вытечет. Рано или поздно придут солдаты и закроют клинкеты. И постараются узнать, кто их открыл... Нет, плотину надо взрывать. Ухнуть так, чтобы всем чертям стало тошно. Тогда попробуй, заделай. Тут на неделю работы, а за неделю можно десять десантов высадить...

Баландин ликовал. Проблема решалась просто и, как ему казалось, наилучшим образом. Самолеты не поднимутся. К утру от озера останется грязная лужа. Правда, горячие головы наверняка попробуют взлететь. Пусть взлетают! На здоровье! Садиться все равно некуда. Разве что в океан. А это — гроб с музыкой...

Но радость неожиданно померкла. Простая мысль обдала Баландина холодом. Взрывчатка! У них не хватит взрывчатки! Плотина — не пушки. Чтобы своротить ее, нужен центнер тола. Если даже заложить в плотину все, что у них есть, они пробьют только дырку. Дырку, которую можно заткнуть задом. Все летит кувырком, весь план. План, в котором не было изъянов. И вот извольте бриться — взрывчатка!..

Баландин испытывал полную опустошенность. Как гипнотизер после сеанса, вложивший в заключительный

номер все силы души и тела, он отрешенно смотрел перед собой, и в его потрясенном мозгу не возникало никаких мыслей.

Подошел Мунко, сел рядом с пленным, стал сматывать аркан. Баландин машинально следил за движениями ненца. Какой-то неясный образ мелькнул в дальних далях сознания. Исчез. Вновь возник, неуловимый, как нетопырь. Баландин напряженно думал. Он уже знал, что расстановка сил изменилась, что в цепи событий появилось новое звено, но не мог понять, чем вызвана такая неожиданная перемена. Не хватало какой-то детали, чтобы неясная пока мысль приобрела видимые контуры.

Мунко сматывал аркан, засунул его за пояс. Снял пилотку, изнанкой вытер мокрое лицо. Прямые жесткие волосы ненца рассыпались, как солома. И тут Баландин уразумел: Мунко! Если обрядить ненца подобающим образом, он сойдет за стопроцентного японца! Выход, черт побери! Плотина все-таки взлетит, или он ровным счетом ни в чем не смыслит!..

План был предельно прост и на первый взгляд совершенно невыполним, ибо в его основе лежала невероятная мысль. Или почти невероятная. Но Баландин не думал так. Как игрок, на которого снизошло наитие, он в один миг объял внутренним взором и видимое пространство, и отдаленные перспективы. И сделал ставку.

Итак, они отпускают пленного. Именно отпускают, потому что никто, кроме него, не принесет обмундирование для Мунко. Можно, конечно, раздеть корейца, но проку от этого никакого. Даже переодетый, Мунко ничего не сделает. А пленный знает все: и где самолеты, и как туда добраться, и как пройти посты. И только

вдвоем они смогут сделать невозможное — добыть взрывчатку и взорвать плотину.

Это был предел мечтаний; в душе же Баландин не сомневался, что товарищи не согласятся с его предложением. Но на этот случай у него имелось свое собственное мнение. И доводы, которые он считал немаловажными. Он изложил план. Разведчики выслушали Баландина внимательно, но он сразу понял, что никто из них не верит в серьезность его затей.

— Сказки, командир! — решительно сказал Калинушкин. — Про белого бычка. Разжалобил нас этот жокей. Да отпусти мы его, он через час полк сюда приведет! Кореец! Он нам паспорт показывал? Припечет — арапом назовешься!

— Не вернется он, командир, — поддержал Калинушкина Рында. — Что он — дурак?

— Должен вернуться! — убежденно сказал Баландин. — Надо только растолковать ему все. Не забудьте, что Корея была захвачена японцами. Для самураев корейцы, как и китайцы, — низшая раса. Это во-первых. Во-вторых — брат. Не думаю, чтобы это было выдумкой. Такие штучки японцы проделывают не впервые. В свое время они уничтожили строителей бактериологических лабораторий в Маньчжурии. Так что, если подумать как следует, Ун должен вернуться. Ему терять все равно нечего.

— Шкуру, командир. Завалится — из него же кишмиш сделают.

— Все будет зависеть от него самого. А ты что скажешь, Влас?

Боцман сосредоточенно соскабливал грязь с сапога.

— Отпустить недолго, командир. Только гарантий, что он вернется, — с гулькин нос. Все это правильно —

низшая раса, брат. Однако Иван тоже прав, жить пленному хочется. Продать, может, и не продаст, но чтоб вернулся... Тут характер нужен. А что он за человек? Лучше самим все сделать.

— Как? — спросил Баландин. — Ты же слышал: пятнадцать машин. Как ты их сожжешь? Туда пробраться чего стоит — охрана, летчики, пулеметы. Ну одну, ну две машины от силы сожжем. А остальные? Пока будешь мотаться от самолета к самолету, подстрелят, как чирка. А плотина — дело верное.

— А я и не спорю. Но в нашем положении дороже синица в руках, чем журавль в небе. А если продаст? Представляешь?

Баландин представлял. Неудача с корейцем означала полный провал операции и несомненную гибель группы. Японцы не выпустят их живыми. Они здесь как в мышеловке. Но еще не дернули за крючок. Однако дверца может захлопнуться в любую минуту. И не опередят ли они события, отпустив пленного?

Все это Баландин понимал. Очень хорошо, без всяких натяжек и иллюзий. И тем не менее настойчивая мысль о возможности взорвать плотину не покидала его.

Нет гарантий, как говорит Шергин? Есть. Пусть небольшие, но есть. Человек, у которого отняли родную землю и убили брата, не может питать верноподданнических чувств к захватчикам и убийцам. С этим надо считаться. Верно: жить хочется всем, и проще всего предположить, что кореец удерет, если отпустить его. А если вернется? Если он смелый человек?

Рассуждая так, Баландин внимательно присматривался к пленному. Тот сидел, поджав под себя ноги, глядя на разведчиков без страха и тревоги.

Баландин видел многих пленных. И неплохо знал их

психологию. Как правило, они раскрывались в первые же минуты. Цепляясь за жизнь, большинство из них заискивали, торговались, юлили и, в конце концов, без утайки рассказывали обо всем. Некоторые не говорили ничего. Но таких было немного. Такие чаще всего вели себя нагло: пытались угрожать, выставляли нелепые и невыполнимые требования, становились в позу. Собственно, это было то же торгашество, лишь прикрытое громкими словами.

Кореец не походил ни на тех, ни на других. В нем не чувствовалось ни заискивания, ни готовности лизать сапоги тех, от кого зависела его жизнь, ни угодливого мельтешения. Встретив взгляд Баландина, он не отвел глаз, ничем не выразил своего беспокойства.

«Нет, он не трус, — подумал Баландин. — И не предатель. Те ведут себя по-другому. На этого парня можно положиться...»

Назвав пленного «парнем», Баландин только теперь заметил, что тот действительно молод.

«Ему нет и тридцати. Он мой ровесник, если не моложе. Наверное, его тоже где-то ждет мать. Его и брата...»

Баландин больше не колебался.

«Нельзя думать о людях хуже, чем они есть. Иначе можно разувериться во всем. Даже среди немцев были честные и порядочные ребята. Как тот ефрейтор, который приполз однажды к нам в траншеи. Он ничего не принес с собой, никаких документов. Просто он сказал, что ненавидит войну и Гитлера. Его накрыло миной, когда он выступал по радио. Его и операторов. Вместе с установкой...»

— Сержант, — сказал Баландин, — объясни ему все. Все — от альфы до омеги.

— Зря, командир, — сказал Калинушкин. — Как бы локти не пришлось кусать.

— Не каркай, — оборвал его Шергин. — Не один ты кусать будешь. Поживем — увидим.

— Поживешь тут... — пробормотал Калинушкин.

Шергин молча показал ему похожий на гирю кулак.

Одинцов говорил долго. Кореец слушал не перебивая. Когда радист остановился, он некоторое время молчал, потом что-то сказал — решительно и резко. Одинцов обернулся к разведчикам:

— Он согласен. Он принесет одежду и пойдет с Мунко. Он просит верить ему.

— Хорошо, — сказал Баландин. — Пусть идет. Мы будем ждать его здесь.

Никогда Баландин не испытывал такого нервного напряжения, как в эти нескончаемые минуты, когда, лежа у края площадки, он, не отрываясь, смотрел в дальний конец оврага, куда сбегала блестевшая от дождя тропинка. Час назад на ней появился человек; по ней он ушел обратно и теперь должен был появиться вновь. Или не появиться.

Временами Баландин готов был раскаяться в содеянном, и только затаенная надежда, как рефрен звучащая в нем, удерживала его от последнего шага. Да и чем могло помочь это запоздалое раскаяние? Оставалось одно — ждать. Ожидание стало уделом всех шестерых, и никто из них не мог сказать, что грядет с ним — успех или ярость последней отчаянной схватки.

Ун Да Син появился неожиданно. Мунко успел лишь предупреждающе поднять руку, а кореец уже скатился в овраг и, не разбирая дороги, устремился к площадке.

Шуршала и волновалась раздвигаемая быстрым телом трава. Сверху казалось, что по дну катится сорвавшийся с обрыва камень.

— Во прет! — удивился Рында. — Как наскипидаренный!

— Застукали, — убежденно сказал Калинушкин. — Чтоб мне сдохнуть, застукали!

Все невольно сжали в руках автоматы, ожидая увидеть тех, кто нагнал на корейца такого страха. Но склон был пуст. Кореец между тем уже взбирался на площадку. Слышалось его тяжелое дыхание и чавканье размокшей земли под ногами. Затем над краем площадки показалось его лицо — мокрое и тревожное. Однако эта тревога исчезла с физиономии корейца, едва он увидел разведчиков. Одним махом преодолев последние метры, он протянул Баландину перетянутый ремнем узел.

— Что случилось, сержант? Почему он мчался как угорелый?

Радист перевел вопрос.

Кореец принялся объяснять, возбужденно блестя глазами и показывая рукой назад.

— Факт, застукали, — сказал Калинушкин.

— Да подожди ты! — остановил его Одинцов. — Никто никого не застукал. Просто Ун боялся, что мы не дождемся его. Ему пришлось запрягать лошадь, и он задержался.

— Какую еще лошадь? — спросил Баландин.

— Он приехал на лошади. Повозка осталась вон там, за оврагом. Он говорит, что на озеро лучше ехать. Если они придут пешком, их могут спросить, зачем они пришли. А так никто не спросит, все привыкли, что Ун приезжает на лошади.

— Молоток! — сказал Калинушкин. — Не гляди, что глаз узкий, а котелок варит. Слышь, Ун? Котелок, говорю, у тебя варганит что надо. Тебя бы к нам на Балт-флот. Адмиралом. Пошел бы в адмиралы, Ун?

— Ну что ты талдычишь? — с неудовольствием сказал Шергин. — Ему же твои слова как мертвому припарки.

— Много ты знаешь, боцман! Кровь из носа: насчет адмирала он усек. Усек, Ун?

Кореец вежливо улыбнулся.

— Видал! — обрадовался Калинушкин. — А ты говоришь!

Баландин все еще держал узел в руках. Напряжение схлынуло, он предчувствовал удачу и не боялся отпугнуть ее неосторожным словом или поспешностью. Однако времени было в обрез. День клонился к закату, а еще ничего не было сделано.

Баландин протянул узел Мунко.

— Давай, — сказал он, — облачайся.

Мунко взял узел и скрылся в траве. Когда он появился оттуда, разведчики не могли удержаться от смеха: ненец выглядел как заправский японец. Форма пришлась ему впору и была, что называется, к лицу.

— Ну, Мунко! — только и вымолвил Шергин.

А Калинушкин фертм прошелся перед ненцем, кланясь и разводя руками:

— Комси-комса! Наше вам с кисточкой!

Кривляние Калинушкина не понравилось Мунко. Он посмотрел на него потемневшим взглядом:

— Не знаешь ты жизни, Федор! Глупый, как сибико гуся! — В устах ненца эти слова звучали как самое сильное ругательство.

— Вот те раз! — притворно удивился Калинуш-

кин. — К нему с уважением, а он тебя матом! Какого-то сибику придумал.

— Сибику — это самка, — сказал Одинцов.

Разведчики снова засмеялись, на этот раз над Калинушкиным.

— Ладно, — пригрозил тот, — я ему эту гусыню припомню! Не мог по-человечески обозвать, змей!

— Все, — сказал Баландин, жестом прерывая веселье. — Порезвились и хватит. — Он достал из-за пазухи планшетку с картой. — Где твое озеро, Ун?

Кореец помедлил, прикидывая, потом ткнул пальцем в нижний обрез карты.

— Так, — протянул Баландин. — По прямой — километров десять. Учítывая рельеф и вид транспорта, кладем два часа. А? — Он посмотрел на разведчиков. Те согласно кивнули. — Отлично, — продолжал Баландин, — поспеют как раз к темноте. А нам что ни темней, то лучше. Теперь главное — взрывчатка. Ун, что можно раздобыть на озере?

— Он говорит, — перевел Одинцов, — что не знает, есть ли там тол. Но бомбы есть. В складе на берегу.

— Что в лоб, что по лбу, — сказал Шергин. — Бомбы даже лучше. Две дуры килограмм по полста — и хватит. А для затравки пяток шашек с собой возьмут.

«Лошадь кстати, — подумал Баландин. — На себе бомбы не попрешь».

— Далеко от склада до плотины?

— Не очень. Ун говорит, что можно доехать за час.

— Добро. Теперь слушай внимательно, Мунко. Приедете — пусть Ун тебя куда-нибудь спрячет. Маскарад маскарадом, но лучше не лезть на глаза. Дальше. Склад берите ночью, когда все уснут. Часового хочешь не хо-

чешь — придется снимать. Дождись смены и снимай. Тогда у вас часа два, а может, три в запасе будет, смотря через сколько они сменяются. Грузите бомбы — и к плотине. Ну а там сами сообразите, что к чему. Да не забудьте колеса обмотать. Чтобы ни стуку, ни скрипу, понял?

— Понял, командир.

— Тогда собирайтесь. Влас, давай шашки и шнуры.

— Лучше целый заряд взять, командир. У нас есть готовые.

— Неси. Заряд так заряд.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал вдруг Одинцов, — а если к Мунко кто-нибудь пристанет? Разговорчивый какой-нибудь, вроде того в траншее? А Мунко по-японски ни слова.

— Это уж точно, — сказал Калинушкин. — Ни в зуб ногой.

Баландин пожал плечами.

— Тут ничего не поделаешь, сержант. Будем надеяться, что любителей поговорить не найдется. А потом с ним Ун. Догадается, как выкрутиться в случае чего.

— Командир, — подал голос Рында, — а пусть Мунко зубы завяжет. Болят, мол, зубы, отвалите.

— А что? Верно, — сказал Шергин. — Иван молчит, молчит, а скажет — так в точку. Замотай чем-нибудь, Мунко, и мычи, если прицепятся.

Баландин засмеялся.

— Придется замотать, Мунко. Все правильно, ни одна собака не догадается. — Он стряхнул с планшета дождевые капли. — И вот что еще. Надо по возможности блокировать подступы к озеру. На тот случай, если Влас и Федор управятся раньше Мунко. А это без

сомнений. Хорошо бы, конечно, сработать синхронно, но чудес не бывает. Плотина у черта на куличках, а танкер рядом. Когда пушки взлетят, заварушка, сами знаете, какая поднимется. Тут и надо помочь Мунко. — Баландин опять смахнул капли с планшета. — Озеро — вот оно. И две дороги. Эта и эта. Первая так себе, вроде тропинки, а вторая грунтовка, хоть на машине кати. Но место для засады есть. Мост. Видите? Устроен — лучше не придумаешь. Слева болото, справа — море. Мост заминирован. Это по твоей части, Иван. Сделаешь что надо и, если попрут, рванешь. Не попрут — еще лучше. А тропку мы с сержантом оседлаем. Сбор здесь, на площадке. Крайний срок — четыре ноль-ноль. Иначе не выберемся. Судно будет ждать вот за этим мысом. Все. Как с зарядами, Влас?

— На полчаса работы.

— Закругляйтесь. Проверь все: кошки, трос, лодку. Мунко, готов?

— Готов, командир.

— Отправляйтесь. Берешь? — спросил Баландин, видя, что Мунко засовывает за пояс аркан.

— Ненец без тынзея — какой ненец?

— Ну смотри.

— Лакамбой, командир. Прощай!..

Дорога петляла между сопок, взбиралась на пологие гладкие вершины, ныряла в овраги, пересекала многочисленные речки и ручьи. Воды на бродах было немного; виднелось усеянное галькой дно и камни на нем, среди которых шныряла серебристая, стремительная форель.

Лошадь входила в воду безбоязненно, с шумом рас-

плескивала ее; светлые струи мутнели; форель молнией кидалась в стороны и пропадала в холодной глубине.

Ун, не оборачиваясь, правил лошадьё; свесив ноги, Мунко сидел позади корейца, погруженный, казалось, в созерцание открывавшихся видов. Он думал, и мысли его были короткими и простыми.

Он думал о тундре. С тех пор как он знал себя, он знал тундру — ее неоглядность летом, белые снега зимой, перекочевки, олени аргиши, косяки крикливых птиц, дымные чумы, в которых всегда пахнет шкурами и рыбой, и где женщины ждут мужчин, чтобы накормить их и отдать им свои ласки.

Он вспомнил жену Ванойти и разговор с Калинушкиным. И рассердился на него. Глупый человек Федор. Не знает жизни. Такой жены, как Ванойти, нет ни у кого в стойбище. Большой калым дал за Ванойти Мунко. Десять оленей дал. Лучшие торбаса шьет Ванойти. Все женщины завидуют. Двое детей у них. Оба — хасавангацекы¹, крепыши. Хорошо. Охотниками будут. Старшему уже десять весен. Когда Мунко вернется, он научит сына стрелять из ружья. И бросать тынзей. Они пойдут в тундру и там поймают оленя. И он покажет сыну, как надо колоть оленя. С одного удара, чтобы не мучить. Покажет, как подрезать сухожилия и снимать шкуру. Мужчина все должен знать. Мужчина — охотник. Пусть растут сыновья. Хорошо. Он спокоен. Ванойти хорошая жена. Он вернется. Они будут сидеть в чуме, пить спирт, есть печень, и он расскажет Ванойти, как воевал. А если бил он ее — так что? Все быют. Ванойти — нгамзани пеля, часть его плоти. Разве не знает этого Федор? Глупый Федор. Как сибико гуся. И жизнь

¹ Хасавангацекы (ненецк.) — мальчик.

плохо знает. Совсем не знает. Командир знает, Влас знает, а Федор нет...

Эта мысль вернула Мунко хорошее расположение духа. Он вытащил трубку и стал сосать ее. Потом потихоньку запел, прикрыв глаза и покачиваясь в такт движению повозки.

Он пел старую песню о старике и старухе, у которых было семь сыновей. Первый сын — Харюци, второй сын Вануйта, третий сын Волк, еще один сын — лесной медведь, еще сын — белый медведь, еще сын — росомаха, еще один сын — Минлей¹. И отпустил старик своих сыновей в разные места. Харюци и Вануйте он дал оленей. Сыну-волку сказал: «Ты кормись оленями Харюци и Вануйты». Лесному медведю сказал: «На земле питайся». Белому медведю сказал: «Иди к морю, в воде живи!» Росомахе сказал: «Ты ведь не можешь живых зверей добывать, где найдешь падшего зверя — его и съешь! Добудут Вануйта и Харюци в слопец² песка — его съешь!» Минлею сказал: «Ты своим путем иди. С разными птицами ведь справишься».

Затем расплодились они. Опять разделились. Харюци разделил своих сыновей на десять родов. Вануйта своих сыновей тоже на десять родов разделил. И другие разделили. Так стало много ненцев...

Заунывный речитатив наводил на корейца тоску. Он несколько раз с беспокойством оглядывался, но Мунко не замечал его взглядов. Он пел уже о другом, о том, что видел вокруг: о лошади, которая везла их, о траве, цепляющейся за ноги, о пугливых рыбах в воде.

Его нисколько не тревожило то, куда они едут и что

¹ Минлей — мифическая птица.

² Слопец — ловушка.

их там ждет. Он знал: они приедут, и он сделает все, о чем говорил командир, — возьмет бомбы и взорвет плотину. О, савà! ¹ Командир хороший ненец ². Настоящий хасава ³. Очень смелый, однако. Не бережет себя. Плохо, что не бережет. Убить могут. Тогда прервется род.

Мысль о собственной смерти не отягощала сознание Мунко. Ненец не может умереть на чужой земле — в этом он был твердо уверен. Его отец умер в тундре. И отец его отца. И все ненцы, каких он знал, умирали в тундре. Так было всегда. Покойник хочет в свою землю. Только отступники умирают на чужбине. Но и она не принимает их. И тени изгоев приходят по ночам в стойбища и бродят вокруг чумов. И тогда лают собаки, которые видят их. Нет, он не умрет на чужой земле. Янггу ⁴.

И когда, миновав очередной овраг, повозка выехала к озеру, ничто не дрогнуло в языческой душе ненца. Он лишь сильнее сощурил глаза, запечатлевая подробности незнакомой жизни.

Стемнялось. В мутной пелене дождя озеро — сильно вытянутый, с голыми берегами овал — выглядело безжизненно и уныло.

Несколько домов стояло на берегу; за ними, как арка моста, вздымалась гофрированная крыша ангара, а еще дальше виднелись самолеты — серо-зеленые неподвижные силуэты, к которым от берега тянулись длинные настилы деревянных пирсов. Людей на берегу

¹ О, савà! — возглас, выражающий в разных случаях разные эмоции.

² Ненец — человек.

³ Хасава — мужчина.

⁴ Янггу — нет.

не было; дождь с тихим монотонным звоном падал в озеро. Они подъехали к шлагбауму. Как и все шлагбаумы в мире, он был выкрашен в черно-белый цвет, от которого рябило в глазах.

Не слезая с повозки, Ун крикнул. В запотевшем окне караульной будки мелькнуло чье-то лицо. Прислонив к глазам ладонь, человек за окном несколько мгновений рассматривал повозку. Потом скрипнула дверь, и из будки вышел солдат. Вобрав голову в поднятый воротник плаща, он, ни слова не говоря, поднял шлагбаум. Пропустив повозку, солдат закрыл шлагбаум и снова скрылся в будке.

Они тронулись дальше. Ун обернулся и подбадряюще кивнул Мунко. Ненец ответил ему неразборчивым возгласом.

Во всем деле Мунко не нравилось лишь одно — повязка, которая, как женский платок, закрывала половину его лица. Она раздражала ненца.

«Глупый человек Иван, — размышлял он. — Придумал тряпку. Зачем придумал? Нельзя разве без тряпки? Ванойти смеялась бы над ним».

Самолюбие ненца страдало, и он с удовольствием снял бы повязку, но, вспоминая наказ Баландина, терпел и делал вид, что выдумка товарищей никак не задевает его. Проехав метров сто вдоль берега, Ун свернул к длинному бревенчатому барaku. Окна барака были темные, но изнутри доносились громкие голоса, выкрики и нестройное пение.

— Содзюся¹, — сказал кореец и красноречиво щелкнул пальцем по горлу. Мунко понял его.

— Спирт, — сказал он. — Хорошо.

¹ Содзюся — летчики.

Они миновали барак, еще раз свернули и остановились у небольшого сарая с навесом. Ун спрыгнул с повозки, ввел лошадь под навес. Открыл дверь, знаком пригласил Мунко за собой. Сарай был наполовину набит сеном. Притворив дверь, кореец не мешкая принялся разгребать сено. Он, словно крот в землю, вгрызался в плотно спрессованную пахучую массу, и скоро из лаза торчали лишь стоптанные подошвы его ботинок. Затем исчезли и они. Несколько минут в сарае слышались возня и сопение, потом из норы показалось вспотевшее, усыпанное сенной трухой лицо Уна. Поднявшись, он выразительно посмотрел на Мунко. Ненец подошел, поправил на поясе нож, без колебаний полез в нору. Ун что-то сказал вслед и стал забрасывать лаз. Звякнула щеколда, и в сарае наступила тишина.



5

Солдат Доихара Сэйдзи считал себя настоящим японцем.

Он обожал несравненного микадо, почитал законы и священную гору Фудзи, не прелюбодействовал и свято верил в великое будущее горячо любимой О-я-симы¹. Правда, он не был самураем, и ему не разрешалось носить мечи, но в этом были виноваты неудачливые предки, оставившие в наследство Доихара мотыгу вместо самурайских мечей. Впрочем, Доихара не был в особой обиде на предков: по

¹ О - я - с и м а — древнее название Японии.

крайней мере ему не придется делать харакири, ведь он всего-навсего простой иттохэй — солдат первого разряда. И он всегда довольствовался тем, что имел.

Когда началась война на Тихом океане и Доихара призвали в армию, он воспринял оба события с невозмутимостью человека, давно ожидавшего их. Он не сомневался в победе. Ведь храбрые японские моряки и летчики в первый же день войны утопили в Пирл-Харборе чуть ли не весь американский флот, а через несколько месяцев отняли у англичан Гонконг и Сингапур. Нет, такая война не могла затянуться надолго, и Доихара искренне жалел, когда стало известно, что полк переводят на север. Триумф и лавры доставались другим.

Однако вскоре выяснилось, что славу делить не пришлось. Союзники перешли в наступление, войска императора несли тяжелые потери, и Доихара возблагодарил всемилостивую и всеблагую Аматерасу¹ за чудесное спасение.

Конечно, жизнь на Курилах была не из легких, но она вполне устраивала Доихара. Русские воевали далеко на западе, и единственное, от чего страдал Доихара, так это от скверного курильского климата. Особенно зимой, когда неделями мела пурга — то ледяная, то с мокрым снегом. В таких условиях не мудрено было заработать ревматизм, а Доихара находился уже в том возрасте, когда люди начинают заботиться о собственном здоровье. Но худшее поджидало Доихара впереди.

В восемнадцатый год эры Сёва² возле острова по-

¹ Аматерасу — богиня солнца, главное божество древней японской религии — синтоизма.

² Соответствует 1943 году.

терпел крушение русский танкер. В казармах поговаривали, что дело обошлось не без вмешательства соотечественников Доихара, будто бы переставивших навигационные знаки, но сам Доихара не верил разговорам. Русские всегда были плохими моряками. Иначе они не отдали бы в свое время острова Японии. И уж конечно, они сами вылезли на рифы.

Как бы там ни было, а целехонький танкер плотно сидел на камнях, и это обстоятельство сыграло роковую роль в жизни солдата Доихара Сэйдзи.

Неизвестно, кому пришла в голову мысль поставить на танкер пушки, но скоро они стояли там. Танкер превратился в форт, четыре орудия которого обслуживали пятьдесят артиллеристов, в том числе и заряжающий Доихара.

Настали трудные времена. Море редко бывало спокойным, и пятьдесят человек жили среди постоянного грохота обрушивавшихся на танкер волн. В сильные штормы корпус судна гудел, словно барабан, по которому били громовики¹, скрежетал и раскачивался. Особенно страшно было по ночам, когда волны, казалось, вот-вот сорвут танкер с каменного основания и повергнут в холодную бездну, разверзшуюся прямо за тонким железом бортов. В такие ночи Доихара молился.

А недавно началась война с русскими.

Они, оказывается, победили, хотя поручик Хата неоднократно говорил, что немцы разобьют Россию, и теперь перебросили войска сюда, чтобы помочь американцам и англичанам. Но им не удастся взять даже острова, потому что таких укреплений не взять нико-

¹ Громовики — по японскому народному поверью, черти устрашающего вида, которые бьют в огромные барабаны.

му. Русские напрасно потеряют время, а из-за их упрямства Доихара придется неизвестно сколько торчать на этом железном гробу...

Такие не очень веселые мысли владели солдатом Доихара Сэйдзи, час назад заступившим часовым. Расхаживая взад-вперед по мокрой и скользкой палубе, он то и дело вытирал лицо и с нетерпением ожидал смены. Где-то в темноте, на другом конце танкера, находился второй часовой, и Доихара с удовольствием составил бы ему компанию, но он трепетал при мысли, что поручик Хата выйдет проверять посты и не застанет Доихара на месте. Тогда ему несдобровать, потому что рука у поручика тяжелая. И вообще он черствый и бездушный человек. Замучил солдат никому не нужными учениями и тревогами, придирается по каждому пустяку. Даже сейчас, на посту, нельзя чувствовать себя спокойно, потому что не знаешь, когда поручику взбредет в голову проверить караулы. Смешно подумать, что на танкер могут напасть! Однако поручик прожужжал об этом все уши. Говорят, он страдает бессонницей, вот и выдумывает всякое, чтобы не скучать по ночам. Разве возможно пробраться на танкер?! Даже ниндзя¹, эти ужасные демоны в человеческом обличье, которые могут летать по воздуху и ходить по воде, не отважились бы на такой безрассудный поступок. Но что поделаешь, поручик Хата не верит в тишину, и Доихара приходится мокнуть и мерзнуть, выстаяв положенные два часа.

Вздыхнув, Доихара подошел к одной из пушек и

¹ Ниндзя — члены религиозно-террористической организации средневековой Японии. Молва приписывала им сверхъестественные способности.

сел у щита, поставив арисаку¹ между колен. Сталь щита холодила спину, но все же у пушки было теплее, чем на открытом месте. Доихара стал думать о доме.

Только в армии он по-настоящему оценил, что значит своя семья и свое жилище, куда можно возвратиться после трудов, подсесть к хибати² и наслаждаться покоем и теплом. И даже выпить чуточку сакэ, а потом лечь спать с собственной женой и сколько хочется ласкать ее горячее и покорное тело.

Доихара опять вздохнул.

Что ни говори, а мужчине трудно без женщины. А здесь нет даже публичных девок, и солдаты буквально озверели. Пока их не засунули на эту коробку, было легче. Девки привозили часто, но он, Доихара, ни разу не ходил в эти дома, где холостые и женатые с одинаковым бесстыдством предавались блуду...

Постепенно мысли Доихара приняли иное направление; он вспомнил, что уже настала ночь осеннего полнолуния, любимого праздника всех японцев, и с завистью подумал о тех, кто встречает его под родной крышей. В деревне сейчас в каждом доме горят разноцветные бумажные фонарики, и хозяева уже поставили в фарфоровые чашки рис и сакэ — пищу и питье для мертвых, потому что сегодняшний праздник — это праздник поминовения усопших. Их души три дня гостили на земле и сегодня возвращаются в свой мир. И нужно получше проводить их.

Здесь Доихара задремал, и ему представилась деревня, огни на полуночных улицах и праздничная шумящая толпа...

¹ Арисака — японская винтовка.

² Хибати — бронзовая или медная жаровня.

Внезапно сон отлетел от него: он увидел ниндзя. Чернее мрака, окружавшего танкер, тот возник над бортом, на мгновение замер и вслед за тем бесшумно спрыгнул на палубу.

Доихара затрясло. Он знал, почему появился ниндзя: демоны являются всегда, стоит только подумать о них. А это к несчастью. Забыв о винтовке и о своих обязанностях, Доихара как замороженный следил за призрачной, едва шевелящейся тенью. Его напряжение было столь велико, что он не заметил, как появился второй ниндзя. Доихара догадался об этом минуту спустя, когда тень у борта вдруг увеличилась, странно задрожала и неожиданно распалась на две, одна из которых тотчас пропала в темноте, а вторая направилась прямо к Доихара. И хотя его скрывала пушка, он знал, что это плохая защита — ведь ниндзя видят в темноте, и, оцепенев, безвольно ждал своей участи.

Ниндзя приближался.

Он двигался медленно, но плавно и легко, будто не шел по мокрому железу, а скользил над ним. Иногда он останавливался, как останавливается змея, подкрадывающаяся к лягушке, затем опять начинал медленно и плавно скользить. Наконец он приблизился настолько, что Доихара расслышал его дыхание. Нужно было только протянуть руку, чтобы коснуться ниндзя. И тут произошло такое, от чего у Доихара захватило дух: ниндзя вдруг споткнулся! Он даже взмахнул руками, стараясь не упасть, и сдавленно зарычал то ли от боли, то ли от неожиданности.

Доихара не видел предмета, вставшего на пути ниндзя, но знал, что на том месте над палубой торчит железный вентиляционный грибок. Это о него споткнулся ниндзя. Выходит, он не заметил препятствия? Но то-

гда что же это за ниндзя?! Настоящие ниндзя видят в темноте как днем, а этот споткнулся да еще зарычал, словно его прижгли раскаленным железом!..

Кровь отхлынула от щек Доихара. Только теперь он начал понимать происходящее. Перед его мысленным взором встало грозное лицо неумолимого поручика Хата, и это видение пересилило все страхи. Доихара вновь осознал себя настоящим японцем и верным солдатом императора. Сжав арисаку, он стремительно поднялся и, как на плацу, сделал выпад.

Он почувствовал, как штык вошел во что-то мягкое. В плоть. И это было последним земным ощущением солдата Доихара. Он не успел принять исходного положения: вырванная какой-то страшной силой, арисака отлетела в сторону, и Доихара услышал хруст собственных костей. Та же сила, которая перед этим вырвала у него из рук винтовку, сдавила его горло, и он умер прежде, чем обмякшее тело свалилось на палубу.

...Отпустив японца, Шергин разогнулся и прислушался. На танкере все было по-прежнему спокойно. Бились волны, порывами налетал ветер, и в один из промежутков Шергину показалось, что он услышал короткий не то вскрик, не то стон, донесшийся с кормы танкера, куда минуту назад ушел Федор Калинушкин. Звук был неясен и мимолетен, но Шергин несколько не сомневался в его происхождении: там, в темноте, только что умер или умирал человек. Кто — этого Шергин не знал. Он был уверен в друге, но собственная оплошность поколебала его уверенность и заставила разведчика замереть в ожидании. С секунды на секунду тишина могла взорваться, и это означало бы, что Калинушкину не удалось снять часового; в одина-

ковой мере события могли сохранить свой первоначальный ход, и это значило бы, что Федор жив и сейчас пробирается назад.

Прошла минута и другая. Недра корабля безмолвствовали. Шергин перевел дух, и тотчас острая боль пронзила бок и отдалась во всем теле. Оно налилось слабостью, на лице разведчика выступил холодный пот. Чтобы не упасть, Шергин ухватился за щит пушки и сполз по нему на палубу. Перед глазами поплыли радужные круги. Стиснув зубы, Влас усилием воли удерживал уходящее сознание. Постепенно слабость стала проходить, оставалась только боль. Шергин растегнул ватник, задрал гимнастерку, сунул под тельняшку руку. Нашупал рану. Она была мягка и нежна, как тело устрицы. Кровь вытекала из нее тонким горячим ручейком.

Зажав рану ладонью, Шергин другой рукой вытащил из кармана индивидуальный пакет. Зубами разорвал его, приложил к ране тампон, стал туго наматывать бинт. Ему казалось, что под марлей тлеет кучка горячих угольев.

Шорох за спиной заставил Шергина позабыть о боли. Конечно, это мог быть только Калинушкин, однако на всякий случай разведчик вытащил нож. Но тут же спрятал его, услышав негромкий условный свист.

Шергин ответил. Темный силуэт выскользнул из-за пушки и приблизился к нему.

— Ну? — спросил Шергин.

— Капут махен, — коротко ответил Федор. Его, видимо, удивила странная поза Шергина. Он опустился рядом с ним на корточки и, разглядев повязку, встревоженно спросил:

— Ты что?

— Пропорол, сволочь, — Шергин кивнул на труп Доихара.

— Сильно?

— Сильно не сильно, Федя, а дырка, вот она. Помоги замотать и тащи заряды. Придет смена, нам с тобой крышка.

Перевязав боцмана, Калинушкин помог ему подняться.

— Водка у тебя? — хрипло спросил Шергин.

— В мешке.

— Неси.

Калинушкин мгновенно растворился в темноте.

Шергин посмотрел на часы. Было половина третьего. Смена могла появиться или через полчаса, или в четыре.

«Вилка, — подумал Шергин, — и поди догадайся, когда будет накрытие. Придется рассчитывать на худшее, и, стало быть, у нас есть только полчаса. Даже меньше, потому что нужно успеть спуститься в лодку. Значит, минут двадцать. Хватит. Заряды готовы, а вставить трубки и поджечь шнуры — минутное дело. Федор еще раз прогуляется на корму, а он управится здесь. Заряды четырехкилограммовые, от пушек останутся головешки... Вот только бок. Надо же так нарваться! Как последний салага! Но кто думал, что этот косоглазый станет прятаться, вместо того чтобы караулить! Выскочил как черт из коробки. Хорошо, хоть не в точку попал. С перепугу, видно...»

Появился Калинушкин, волоча мешок с зарядами.

— На, — он протянул Шергину флягу.

Шергин отвинтил крышку и сделал несколько больших глотков. Водка была холодная и оттого почти безвкусная, и Шергин пожалел, что во фляге не спирт.

Спирт лучше всего заглушает боль и действует быстрее, а для него сейчас главное — продержаться эти двадцать минут. А там можно будет просто бултыхнуться за борт, Федор выловит.

Они быстро приготовили заряды.

— Давай на корму, Федя, — сказал Шергин. — Поджигай и вали назад. Времени у нас, сам знаешь, кот наплакал.

— Знаю, — отозвался Калинушкин.

Взяв заряды, он уже собирался юркнуть в темноту, но не успел: ослепительно белый, почти космический свет вспыхнул у них над головами, опережая вой сирены и беспорядочные выкрики вскакивающих по тревоге людей.



6

Ун вел лошадь под уздцы. На дороге то и дело встречались лужи и колдобины, и кореец первым вступал в них, нащупывая ногами колею и осторожно направляя лошадь.

В двух шагах впереди ничего нельзя было разобрать, но это не особенно беспокоило корейца. Он хорошо знал дорогу и мог бы пройти по ней с завязанными глазами. Его тревожило другое — шум, который они создавали. Несмотря на все старания Уна, перед каждой ямой до предела замедлявшего движение, лошадь шлепала по лужам, как слон

по болоту. Да и повозка гремела, точно железная, когда колеса наезжали на камень или срывались в особенно глубокую рытвину.

Правда, пока это было не опасно, но скоро они должны были обогнуть озеро, и тогда часовой у плотины мог услышать шум.

«Нужно остановиться в ложине, — думал Ун. — Оттуда до плотины не больше половины ли¹. Я подожду, а тем временем русский убьет часового. Тогда мы подьедem и заложим бомбы...»

Сложные чувства владели корейцем.

С того момента, когда его, связанного, притащили на площадку и он увидел бесстрастные и суровые лица незнакомых людей, одетых в пятнистую невиданную одежду, он понял, что его путь каким-то неведомым образом пересекся с их судьбами.

От незнакомцев веяло такой силой, таким спокойствием и скрытой опасностью, что, будь познания корейца обширнее, он принял бы этих людей за существ с иной планеты. Но такая мысль не приходила ему в голову. Он был неграмотным крестьянином и не подзревал о многообразии и бесконечности вселенной, равно как и о существовании многих высоких понятий и категорий. Если бы у него спросили, что заставило его согласиться на участие в смертельном и рискованном деле, он не ответил бы. Не думая о сути и взаимосвязи явлений, он следовал какому-то внутреннему позыву, который внушал ему уверенность в правде его решений и поступков. И эту правду он впервые почувствовал в голосе и прочел в глазах никогда им ранее не виданных людей. Он мог бы не вернуться к ним и

¹ Ли — мера длины, около 400 м.

даже предать их, но не сделал ни того, ни другого, и, шагая по темной дороге, проваливаясь в рытвины и ухабы, вымокший и уставший от непривычного внутреннего напряжения, он тем не менее перебарывал его и думал лишь о конечной цели так внезапно свалившегося на него дела.

Он не сомневался в успехе. Только случайность или чрезвычайные обстоятельства могли помешать им выполнить задуманное. Но никаких помех пока не было и, как ему казалось, не предвиделось. Они все сделали чисто. Никто не видел, когда они выехали. Ун не такой дурак, чтобы ехать старой дорогой. Он провел лошадь по воде, а на ней следов не остается. Склад они закрыли, а труп часового спрятали. Его можно искать хоть до конца жизни. А кровь смоем дождь. Летчики в казарме? Они тоже ничего не видели. Они перепились и горланили свои песни. А что им делать еще? Их ожидает последний полет. Их нагрузят бомбами, и они спикируют на палубы кораблей. Они сумасшедшие, эти летчики. У них у всех белые глаза... Часовой на плотине? Русский убьет его. Это не человек, а демон. Часовой у склада даже не вскрикнул, когда русский ударил его ножом. Так будет и на плотине. Никто не увидит их. Ночь. Солдаты спят, а когда бомбы взорвутся, Ун и русский будут уже далеко. Он отомстит за брата. И за всех тех, кого японцы утопили в ту страшную сентябрьскую ночь, воспоминания о которой преследуют его, как кошмар.

...Ун был третьим ребенком в семье. А всего детей было восемь, и, конечно, семье жилось нелегко. Но все же у них был свой чиб¹ и крохотное поле, на котором

¹ Ч и б и — небольшой корейский дом.

они выращивали чумизу и гаолян. После работы все собирались в доме, ели лук и бобы, а потом женщины садились плести соломенные сандалии для продажи, а мужчины собирались у себя, чтобы покурить и послушать рассказы отца.

Так шли годы, и ничего не менялось в деревне, но однажды из города приехал чиновник и объявил о мобилизации. Япония готовилась к войне, и нужно было строить укрепления. На работы забирались все здоровые мужчины от восемнадцати до сорока пяти лет. Так Ун с братом оказались на островах.

Вместе с другими рабочими они долбили твердую, как камень, землю, рыли котлованы, пробивали тоннели и подземные переходы. Работали с утра и до вечера, и с утра и до вечера их охраняли молчаливые солдаты с короткими винтовками за спиной. Иногда на стройку приезжали какие-то военные, и в такие дни рабочим совсем не давали разогнуться.

Ночью в бараках кое-кто поговаривал, что надо бежать со стройки, но таких слушали с недоверием и опаской. Да и как можно было убежать с острова, когда кругом было море. Единственное, чем утешали себя измученные непосильной работой люди, так это воспоминаниями о прежней жизни, которая теперь казалась им раем. Ун с братом спали на нарах рядом, и бывало, что всю ночь они проводили за разговорами о далеком доме, о сестрах и братьях, оставшихся в родной деревне.

Так было и в ту темную душную ночь. Уже почти все спали, когда в барак пришли солдаты. Они подняли рабочих, вывели их на улицу и строем повели куда-то. Пронесся слух, что всех отправляют на родину, и люди радостно переговаривались, не замечая ни дож-

дя, ни порывов ветра. Колонну привели на берег. Желтые фонари раскачивались над пирсом, возле которого темнел силуэт причаленной баржи.

Рабочих посадили в трюм. Он был сырой и холодный, но на это никто не обращал внимания. Всем хотелось домой, под синее небо. Трюм закрыли, над головой прогрохотали по палубе солдатские ботинки, и катер потащил баржу в море. Волны швыряли ее, и скоро у большинства начались приступы морской болезни. Стоны людей заглушались хлюпаньем волн, грохотом и скрипом расшатанных переборок. Никто не знал, сколько уже прошло времени; никто ни о чем не думал. Прижавшись друг к другу, люди отупело дожидались конца своих мучений.

И вдруг кто-то закричал, что в трюм прибывает вода. Поднялась паника. Все вскочили и стали колотить в переборки. Многие бросились к люку. Но он был закрыт снаружи. А вода прибывала. Теперь уже все слышали ее зловещее клокотанье. Вопли людей, которых обуял ужас смерти, слились в один звериный вой.

Оторванный в суматохе от брата, Ун вместе с другими метался и кричал в темноте трюма, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но ее не было. Повсюду Ун натывался на железо.

Баржа погружалась. Вода уже доходила до груди и продолжала прибывать. Не выдержав ее напора, со звоном лопнула одна из переборок. Ун устремился к пролому. Чьи-то руки цеплялись за него, но он отдирали от себя, с безумной яростью пробиваясь вперед. Срывая с тела куски кожи, он протиснулся в пролом. Здесь, за переборкой, вода доходила уже до потолка, и, плавая в ней, Ун случайно уцепился за какой-то рычаг. Он рванул его и с бешеной радостью ощутил,

как над головой открылась узкая горловина, в которую со свистом устремился оставшийся в барже воздух...

Над морем стояла кромешная тьма. Баржа уже едва возвышалась над водой, и Ун, не раздумывая, прыгнул за борт. Он плыл до тех пор, пока не почувствовал, что силы и сознание оставляют его. Некоторое время он еще пытался удержаться на воде, но тут в голове у него вспух и лопнул раскаленный добела шар...

Очнулся он на берегу. Возле Уна, рассматривая его хитрыми сощуренными глазами, сидел пожилой японец. Когда Ун подкрепился чашкой горячей сакэ, японец рассказал ему, как он на своем кавасаки подобрал Уна в море. Видимо, японец догадывался кое о чем и раздумывал, как ему поступить. Он не собирался укрывать Уна, но времена наступали тяжелые, ему требовался бесплатный работник. Так Ун сделался батраком. А когда сына хозяина призвали в армию, вместо него пошел служить Ун. Чиновников, получивших от хозяина Уна солидный куш, не интересовало ни прошлое вновь испеченного рекрута, ни тем более его будущее...

Не догадываясь о переживаниях своего помощника и провожатого, Мунко сидел на повозке и следил за тем, чтобы бомбы не бились друг о друга, когда колеса проваливались в очередную рытвину. Ненец был доволен. Он наконец-то развязал и выбросил повязку и снова чувствовал себя мужчиной.

Все идет так, как сказал командир. Они приехали, и Ун спрятал Мунко. Хорошую нору сделал. Тепло в ней, как в чуме. Мунко не замерз, пока дожидался. А потом Ун пришел и повел его к складу. Часовой глу-

пый. Сидел как хабэвко¹ под снегом. И умер как глупец. Они открыли дверь и взяли бомбы. И теперь едут. Долго, однако. Командир беспокоиться будет. Но разве виноват Мунко? Даже старуха Парнэ² не увидит сейчас дорогу. Только Ун увидит. Настоящий человек Ун. Мужчина.

Повозка внезапно остановилась. Думая, что они приехали, Мунко соскочил на землю. Уна не было видно. Мунко наугад двинулся вперед и натолкнулся на корейца. Тот стоял рядом с лошадей, зажимая ей морду руками. Разглядев Мунко, он прижал к губам палец.

Мунко затаил дыхание. Сначала он ничего не услышал, но спустя мгновение сквозь шелест дождя до слуха донеслись чьи-то громкие голоса. Кто-то шел навстречу повозке.

Медлить было нельзя. Ун потянул лошадь в сторону. Не чувствуя под ногами наезженной дороги, она заупрямилась, замотала головой, пытаясь вырваться из рук ездового. Но Ун был начеку. Он быстро схватил лошадь за нижнюю губу и с силой перекрутил ее. Подчиняясь боли, лошадь послушно пошла за корейцем. Въехав в траву, они остановились и замерли. Загородив собой корейца, Мунко вытащил нож. Судя по голосам, двое или трое людей прошли мимо них и стали удаляться. Немного подождав, Ун снова вывел лошадь на дорогу. Мунко занял свое место на повозке, и они поехали дальше.

Встреча насторожила и обеспокоила обоих. Но в отличие от Мунко, устремившего все внимание вперед,

¹ Хабэвко — куропатка.

² Парнэ — богиня тьмы у ненцев. Представлялась в образе хромой, некрасивой старухи.

Ун думал теперь и о тыле. Он знал определенно, что им встретились солдаты, караульные с плотины, которым что-то понадобилось на озере. Они могли вернуться в любое время и помешать диверсии. Их приход мог явиться той самой случайностью, которую кореец в своих планах практически скидывал со счета.

Была и еще одна причина для беспокойства. Солдаты могли задержаться на озере, и тогда Ун рисковал столкнуться с ними на обратном пути. Конечно, он будет наготове и постарается первым обнаружить солдат, но может случиться и наоборот. Тогда при всем желании он не отвертится. Ездовой, без надобности путешествующий ночью, — одного этого хватит для обвинения. Когда же взлетит плотина, с ним и вовсе перестанут церемониться. А средства развязать ему язык у японцев найдутся...

Но, несмотря ни на что, намерения Уна не изменились. Он лишь чаще оглядывался назад, всматриваясь и вслушиваясь в окружавший дорогу мрак. Наконец, различив что-то, снова свернул на обочину. Повозка накренилась, подпрыгнула раз-другой и встала.

Мунко почувствовал на своем локте руку Уна. Ненец спрыгнул, и они сошлись в темноте, точно заговорщики.

Плотина была где-то рядом. Ее с головой выдавал шум падающей с высоты воды. Но, видно, перепад уровней и напор были небольшими, потому что плеск перекрывало ровное мощное гудение, словно поблизости вертелись крыльчатки вентиляторов или насосов. Впрочем, так могло и быть, если, кроме плотины, здесь располагалась еще и водокачка.

Показав рукой в направлении шума, кореец изобразил затем шагающего часового и дотронулся до ви-

севшего на поясе Мунко ножа. Разведчик понял его. Откинув с головы капюшон маскхалата, он скрылся в темноте. Ун достал из повозки торбу с овсом, подвесил ее лошади на шею и приготовился ждать.

Долго разыскивать плотину не пришлось. Преодолев кочковатое болотце, Мунко, не задерживаясь, перемахнул через какую-то канаву и уперся в начало дамбы. Здесь он залег и стал вслушиваться в плески и гудение.

Но вскоре он понял, что выбрал неудачное место. Он видел только начало плотины, вернее, один из ее концов; другой же был скрыт от него. Подумав, Мунко решил перебраться к середине дамбы, но вспомнил, что этого сделать не удастся: под дамбой проходила река. Оставалось одно — подняться наверх.

Распластываясь, вжимаясь в дерн, ненец, как паук по стене, пополз по откосу. Через минуту разведчик оказался у цели. Один только шаг отделял его от верхнего основания усеченной земляной пирамиды. Если часовой находился поблизости, этот шаг мог оказаться для Мунко последним. И он не торопил события.

Прислонившись ухом к земле, он старался уловить хотя бы малейшее колебание почвы; которое бы подсказало ему местоположение часового. Гудение мешало ненцу, но он заставил себя не обращать на него внимание, весь сосредоточившись на одном. Однако ни единый звук не выдавал присутствия поблизости человека.

И тогда Мунко решил выглянуть. Его голова поднялась над краем дамбы, словно над бруствером. Но как ни кратковременно было это движение, кошачьи глаза ненца успели разглядеть часового. Тот бесфор-

менным черным силуэтом маячил в дальнем конце дамбы.

Мунко позволил себе расслабиться. Теперь, незамеченный и невидимый, он мог играть с часовым как кошка с мышью. Но не больше, потому что снять его Мунко не мог: ни он, ни оставшийся на дороге кореец не знали, когда японцы сменяют посты, и всякий риск по этой причине был равносителен самоубийству. Только это и спасало часового от немедленной и мгновенной смерти. Как ни велико было искушение Мунко расправиться с постовым, он приказал себе пока не думать об этом. Человек, которого он должен был убить, еще спал в караульном помещении и вряд ли предчувствовал, что смерть уже поджидает его.

Время над плотиной остановилось. Разгоряченное тело Мунко начало остывать, разведчика мучила жажда. Рядом текла река, но Мунко старался не думать о ее прохладной живительной влаге. Любое неосторожное движение могло выдать ненца с головой, а он согласился бы умереть, чем провалить задание. Он лизал мокрую траву и, не сводя с часового глаз, дожидался прихода смены.

Вместе с ожиданием росло беспокойство о корейце, который в полном неведении сидел сейчас под дождем и нервы которого могли не выдержать выпавшей на их долю нагрузки. А без помощи корейца задача Мунко усложнялась во много раз. Но, вспоминая все, что сделал Ун за прошедший день, Мунко успокаивался и вновь принимался лизать траву.

Часовой между тем уже не стоял на месте, а расхаживал взад-вперед по дамбе и проявлял все признаки нетерпения, которые проявляют караульные, когда смена задерживается. Японец проходил так близко от

Мунко, что тот явственно ощущал исходивший от часового тяжелый запах мокрой одежды, давно не стиранного белья и немытого тела. Чужие запахи раздражали Мунко, и он едва сдерживался, чтобы не отворачиваться при приближении часового.

Наконец впереди послышались шаги и голоса. Часовой что-то крикнул и трусцой поспешил навстречу идущим. Процедура смены заняла не больше минуты. Скороговоркой были сказаны обязательные фразы, и новый караульный занял свое место, завистливо провожая смененного, который, забыв о только что перенесенных невзгодах, шагал за разводящим к караульному помещению, где его ожидали несколько часов безмятежного сна.

Мунко воспрянул. Вынув из-под пилотки какую-то тряпицу, он насухо вытер руки и достал нож.



7

Добравшись до моста, Иван Рында с обстоятельностью, которой всегда отличались его действия, осмотрел «объект». Мост был как мост — полтора десятка бревен, скрепленных квадратными железными скобами. Расположен он был и в самом деле удачно: справа от дороги начинался обрыв, слева лежали болотистые непропуски.

«Сюда бы пулеметик, — подумал Иван, — можно было бы дров наломать».

Окончив осмотр, он занялся делом — вынул и стал налаживать са-

модельную мину. «Самоделки» были страстью Ивана. Еще в партизанском отряде он без конца мастерил их и достиг в этом занятии выдающихся результатов. Его тяжелые руки, которыми он без содрогания перерезал горло немецким часовым, оказались специально созданными для возни с проводками и взрывателями. Через эти руки прошли тысячи мин, гранат и снарядов, и ни один взрыватель в них не сработал преждевременно.

Установив мину, Иван выбрал местечко посуше и лег, положив рядом автомат и две «лимонки» на всякий случай. Несколько минут он ворочался в траве, устраиваясь поудобнее, и наконец уgomонился. И сразу же до смерти захотел курить. Чтобы как-то отвлечься от мысли о куреве, Иван достал самодельный наборный мундштук и по старой партизанской привычке принялся грызть горьковатый, пахнущий табаком черенок. Конечно, если бы не святой закон разведчиков — не курить на задании — он бы высосал втихую махорочный «гвоздик», тем более что в такой глуши и под таким дождем ни один самый чуткий нос не унюхал бы дыма. Но уговор, как говорят, дороже денег, и Иван стойко переносил муки табачного голода. Гораздо больше его не устраивало само задание. Подумаешь, заминировать мост! Он не считал это событием и с горячностью молодости завидовал Калинушкину и Шергину. У тех действительно было дело.

Еще днем, когда они наблюдали за танкером, Иван в глубине души надеялся, что взрывать пушки пошлют его. Он уже представлял, как лезет на борт, как снимает часового и закладывает заряды. Но командир рассудил по-своему. Послал Калинушкина и Власа, и по этому поводу Иван ничего не мог возразить. Ребята что надо, кому хочешь рога свернут. Но с пушками

лучше управился бы он. С плотиной дело другое. Тут как ни крути, а Мунко никем не заменишь. Вылитый самурай.

Иван вспомнил кислую физиономию ненца, когда тот, наряженный, предстал перед разведчиками, и рассмеялся. Картина!

Но командир рисковал. А если бы тот фрукт не вернулся? Сливай воду — их взяли бы голыми руками. Ну не совсем, конечно, голыми, кое-кого и они бы «уговорили», не маленькие. Но ведь вернулся! И с Мунко поехал. Может, там и продаст? Нет, не продаст. По морде видно. За брата мстит. Командир сразу все понял. А они, как бараны, упирались. Командиру бы орден за это. Получит, дай только вернуться. И им что-нибудь обломится, по «Звездочке» как пить дать.

Иван подумал о «Звездочке» не случайно. Была у него такая «хитрая» примета — желать одного, а говорить о другом. Этим он как бы приманивал к себе удачу, убеждал себя в том, что сбудется то, о чем по-малкиваешь.

Ему, например, хотелось иметь медаль «За отвагу». Была у него и «Звездочка» и «Знамя» было, а «За отвагу» не было. Не представляли Ивана к этой почетной медали. Один раз даже к «Славе» представили, да не утвердил какой-то штабист наверху. Сопливый еще, сказал. Командир жалобу писал, а потом его ранило. Так и накрылась «Слава». И даже медалью не заменили, тыловые крысы. Поползали бы сами на брюхе, небось подобрели бы...

Передумав обо всем, Иван начал томиться. Ни одного постороннего звука не слышалось вокруг, ни единой живой души не ощущалось возле. Шумело под обрывом море, сыпал и сыпал дождь.

А между тем лишь минуты отделяли шестерых людей от роковых событий, от того момента, когда непрочная цепь обстоятельств и причин начнет раскручиваться, словно сорванная с катков танковая гусеница.

Уже готовился к обходу постов японский поручик.

Уже Мунко, сняв часового, закладывал в плотину бомбы.

Уже навстречу своей судьбе ехал по темной дороге кореец Ун.

Но еще спал в своем бронеколпаке прикованный к пулемету солдат-камикадзе, который через несколько минут пошлет в грудь Мунко смертельную очередь.

Еще стояли в ангарах холодные танки, которых встретит у моста двадцатитрехлетний Иван Рында.

Еще не была дослана в ствол миномета мина, которая ранит Баландина.

Но эти минуты истекали, и, когда последняя канула в вечность, над миром грянули автоматы. Они гремели, как набат, как аккорды торжественного реквиема, оплакивая мертвых и прославляя живых...

Боль и отчаяние захлестнули душу Ивана Рынды.

Обратившись в ту сторону, где над морем, как следы метеоров, метались и гасли на лету огненно-белые трассы, он по грохоту и доносившимся крикам пытался представить себе ход так неожиданно начавшего боя.

Еще минуту назад ничто не предвещало его; теперь же боевые звуки становились все громче и ожесточеннее, все беспощадней и сильнее; и эта беспощадность, это непрерывное нарастание огня не могли продолжаться вечно. Они требовали исхода, и этим смертным истечением могла стать только гибель Калинушкина и Шергина. Что могли сделать двое, пусть сильных и

отважных людей против сорока или пятидесяти солдат, поднятых среди ночи, растерянных и напуганных, преодолевавших сейчас этот страх и растерянность, и потому злых и одержимых жаждой расплаты?

Но сердце Ивана, ожесточившееся в войне, испепеленное огнем бесчисленных страданий и потерь, восставало против гибели близких и дорогих ему людей, и он с надеждой вслушивался в шум и грохотанье схватки, шепча страстные и неразборчивые слова.

Треск и гул в океане достигли той силы, по которой можно было определить, что развязка приближается. Затем и гул и треск смолкли, и сердце Ивана сжалось от предчувствия и безысходной тоски. Он не хотел верить, что все уже предрешиено там, на танкере, и не знал, что в эти минуты Калинушкин переползает на другую позицию, а почти теряющий сознание окровавленный Шергин спускается по трапу в теснины артиллерийского погреба.

Теперь время не тянулось — летело. Тьма уступила место предассветному сумраку. Светлые полосы тут и там засветились на небе, и стали видны пунктирные струи отвесно падающего дождя.

Остров ожил. Смутный гул, словно гул начинающегося землетрясения, зародился в его недрах, вырываясь и выплескиваясь наружу в дальних и ближних концах молчавшего дотоле массива. То был гул спешно передвигавшихся людских масс, застигнутых взрывами и занимавших теперь свои места в капонирах, в траншеях, у амбразур, где, слепо уставясь в сумрак, людей дожидались мертвые и потому бесполезные пока агрегаты войны. Им требовалась цель и программа, и она уже задавалась им, но лязг орудийных замков и скрипы поворотных устройств и механизмов не слыша-

лись за расстоянием; все вбирал в себя и заполнял низкий, как рокот моря, гул.

Когда же умолкнувшие было крики вновь огласили ночь, их нетерпение и ярость заглушила превосходящая их ярость одинокой автоматной очереди.

Трагичность ее стаккато потрясла Ивана. Только обреченное существо могло издать такой высокий и безысходный звук. И когда он внезапно оборвался, тишина обрушилась на мир, как обвал. Ее безмолвие заполнило земные пространства и сферы, и стали слышны торжествующие клики победителей. Они множились и нарастали, когда хлябь океана разверзлась. Белый протуберанец поднялся над притихшей водой и с немыслимой быстротой рванулся в небо. Мгновение был виден его кометный, дрожащий и вихляющийся хвост, затем над морем прокатился и упал удар чудовищной силы.

И сердце Ивана облилось кровью, и слезы оросили лицо...

И как продолжение, неподалеку длинно и зло ударил автомат. Иван замер. Он еще надеялся, что эта очередь была случайной, но вскоре надежды покинули его: автомат заработал как заведенный, к нему присоединился другой, и отзвуки новой схватки коснулись обостренного слуха разведчика.

Сомнений не оставалось: бой вели Баландин и Одинцов. И тогда Рында поднялся. Бесплезный и никому не нужный мост, у которого он провел в бездействии столько часов, был ненавистен ему. Как некое существо, от которого исходили все неудачи и зло. И, яростно погрозив его ослизлым сваям и бревнам, Иван ринулся туда, где, перебивая друг друга, строчили и строчили автоматы.

Он не пробежал и двадцати шагов: вдруг все сместилось и стало не собой — и гром стрельбы, и гул движения. И словно занавес упал сверху, отгородив полмира, впитав в себя его дыхание и пульсации. Из-за спины дохнуло гарью; призрачный колеблющийся свет прорвал мокрую серую мглу и заметался под небом. И тяжкий лязг возник вдали, приближаясь и нарастая, как рев камнепада...



8

Молва не ошибалась, утверждая, что поручик Хата не спит по ночам. Единственного отпрыска древней самурайской фамилии действительно мучила бессонница.

Пять лет, проведенных без отпуска в казармах и казематах среди серого солдатского быдла, основательно расшатали нервную систему поручика. Редкие и по большей части случайные развлечения не компенсировали хронической усталости. Мало чем помогали и офицерские клубы. Любой вечер там, как правило, кончался попойкой, а среди офицеров

почти невозможно было найти по-настоящему культурного человека. Войне не предвиделось конца, и кадры всё чаще пополнялись наспех обученными унтер-офицерами, большинство из которых были абсолютными невеждами и солдафонами. Поручик Хата сторонился их. Свое одиночество он восполнял поэзией. У него была чувствительная, экзальтированная натура, а божественная гармония старинных танка¹ как нельзя лучше способствовала его душевному настрою. Поэтому поручик повсюду возил с собой изящные пергаментные томики, укрывавшие некогда стены семейной библиотеки.

Надо ли говорить, что на танкере чтение стало единственной отрадой и страстью поручика Хата? Конечно, днем у него не было для этого времени. Все отнимали дела. Солдаты, лишенные последних удовольствий, все больше и больше распускались, появились случаи вольнодумства и невыполнения приказаний, и поручику приходилось железной рукой приводить непокорных к повиновению. Он до предела насытил программу занятий, справедливо полагая, что загруженному человеку не придет в голову раздумывать о сложностях и противоречиях бытия, и целыми днями муштровал солдат, отрабатывая учебные задания.

Зато ночью, когда измученные солдаты укладывались спать, поручик запирался в своей каюте и, отрешившись от всего земного, погружался в чарующий мир поэтических образов. Засыпал он обычно перед рассветом, а нередко и вовсе не смыкал глаз; однако, появляясь утром на палубе, бывал неизменно свеж и непроницаем. Побеждают лишь сильные. Кто слаб — пусть уйдет в вечность. Так считал поручик Хата, так повелевал Бусидо, закон самураев...

¹ Танка — японские пятистишия.

Этой темной и ненастной ночью поручик по обыкновению не спал. Снаружи завывал ветер, и шумело на рифах море, но поручик не замечал неистовства стихий. Удобно расположившись в глубоком кожаном кресле, оставшемся в каюте от старых хозяев, он наслаждался безукоризненным строем и напевностью стихов. Ноги поручика, укутанные толстым футоном¹, согревала анка²; тепло от нее приятно растекалось по всему телу. Время от времени поручик откладывал книгу в сторону и, прикрыв глаза, осмысливал прочитанное.

Как песок сквозь пальцы, текли минуты, часы. Угасала и вновь возрождалась жизнь, гибла осмеянная и поруганная любовь, рушились святые узы товарищества, предавалась анафеме добродетель. Миром правило зло. Люди безбоязненно творили грехи, а искупления не было. Поэт, живший тысячу лет назад, хорошо понимал это. Но поэт призывал убить зло в человеческой душе, и это было ошибкой. Ибо, убивая в человеке зло, лишаешь его силы. А что может бессильный?..

Поручик захлопнул книгу. Надо было идти проверять посты. Не хотелось вылезать из футаона и выходить на дождь и ветер, но поручик решительно подавил всякие колебания. Долг превыше всего. С этих скотов солдат нельзя спускать глаз, так и норовят сделать какую-нибудь гадость. Плохо ухаживают за оружием, отлынивают от всякой работы, а в последнее время дело дошло до того, что стали спать на посту. Правда, пойманные на всю жизнь запомнят полученный урок —

¹ Ф у т о н — род стеганого одеяла.

² А н к а — небольшая переносная жаровня.

каждому из них дали по сто палок, — однако это вряд ли научит остальных. Нужны более действенные меры, и он, поручик Хата, прибегнет к ним. В следующий раз виновных просто-напросто обезглавят...

Поручик жестко усмехнулся, словно уже видел лежащие в корзине отрубленные головы, затем стал одеваться. Проверив напоследок, исправно ли действует фонарик, он вышел из каюты.

Тяжелый шум накатывающихся на судно валов заложил уши. Было темно, как в мешке, однако, присмотревшись, поручик различил в темном месиве волн более светлые участки — рифы, вокруг которых вздымались белые каскады брызг. Рифы сопротивлялись напору ветра и воды, но время от времени какая-нибудь крупная волна переваливала через барьер и ударяла в танкер. Судно вздрагивало. Дрожь доходила до палубы, и в разных местах на ней начинало что-то скрежетать, перекачиваться, елозить.

Постояв у двери и освоившись с новой обстановкой, поручик осторожно спустился по трапу на палубу.

Дьявольская ночь... Видно, не в духе старик Сумиёси¹ — в таких волнах могут резвиться разве что водяные — каппа...²

Знакомый с детства по рассказам бабки образ пучеглазого, чешуйчатого и перепончатого водяного четко предстал в живом воображении поручика. Впрочем, вряд ли и каппа сейчас удержится на плаву — такие волны вышвырнут хоть кого. И тогда крышка водяному: ведь вода, которую он, как величайшую драгоценность хранит в ямке на голове, выльется, и каппа потеряет свою силу. Как этот русский танкер.

¹ Сумиёси — бог, повелитель морских волн.

² Каппа — японский водяной.

Поручик прищелкнул пальцами. Ему понравилось пришедшее в голову сравнение. Кстати, почему бы не закодировать танкер — «Мертвый каппа»? Оригинально и в чисто японском духе. Нужно будет подсказать это дуракам, сидящим в штабе, у которых при рождении кастрировали всякое чувство поэзии...

Здесь мысли поручика прервались, потому что он вдруг уяснил, что двигается явно в северо-западном направлении. А только сумасшедший или невежда, незнакомый с магией чисел и звезд, рискнет выбрать — да еще ночью! — северо-запад — направление, всегда считавшееся несчастливым, открытым для вторжения демонических сил.

Хата остановился. Еще не поздно было вернуться назад и проследовать привычным маршрутом, но поручик был настолько же упрям, насколько и суеверен. Не в привычках самурая сворачивать с избранного пути. К тому же, это довольно забавно, — появиться с той стороны, откуда тебя не ждут. Часовые наверняка наложат в штаны. Но если они спят — горе им!..

Соблазн захватить часовых спящими заставил поручика позабыть о приметах и магии. Не раздумывая больше о последствиях, он двинулся дальше.

Тьма как будто до предела сгустилась над танкером, но поручик свободно ориентировался среди встречающихся на его пути препятствий. Фонарик он не зажигал — свет понадобится ему в последний момент, чтобы осветить заспанные, дрожащие хари и насладиться мгновенным страхом в вытаращенных, бессмысленных глазах часовых. О, это будет превосходный спектакль!

Из темноты, словно скала, надвинулся массивный силуэт ходовой рубки. Поручик уже не шел, а крался,

и, едва в густой тени проступили очертания оружейных стволов, он замер, как легава, делающая стойку. Ноздри поручика трепетали, он с трудом сдерживал дыхание, стараясь расслышать шаги часового или увидеть его самого. Но возле пушек не угадывалось никакого движения.

«Спит, — со злобной радостью подумал поручик. — Спит ублюдок!» Он был почти счастлив от того, что его предположения сбывались и что на этот раз никакие силы не спасут преступника. Довольно слюняйства! Утром перед строем произведут экзекуцию. Пора напомнить не только солдатам, но и кое-кому наверху, что решительные поступки были всегда в традициях нации ямато... Но где же все-таки часовой?

Поручик обошел первое орудие. Никого. Зато у второго он тотчас наткнулся на того, кого искал. Привалившись плечом к станине орудия, часовой спал как убитый. Он сидел на корточках, согнувшись в три погибели, но, видимо, не испытывал никакого неудобства. Винтовка валялась рядом, и это обстоятельство вызвало особую ярость поручика.

Негодяй! И такой мрази дозволили защищать интересы империи!

Бешенство душило поручика. Он шагнул к часовому и изо всех сил ударил его ногой в бок. Он ясно услышал, как екнула селезенка в утробе спящего, но часовой не пошевелился. Он лишь бесчувственно мотнул головой.

Поручик не верил себе. От такого удара пробудился бы мертвый, а этот троглодит только рыгает как обожравшаяся свинья! Пьян?! Ну, конечно, пьян! Фельдфебель Кавамото давно предупреждал, что солдаты неизвестно где достают сакэ и напиваются, но он про-

пустил тогда слова фельдфебеля мимо ушей. В таких условиях даже солдатам необходима разрядка. Но пить на посту!

Вконец разъяренный, поручик схватил часового за волосы и направил ему в лицо свет фонаря. То, что он увидел, было неправдоподобно, чудовишно, кошмарно: солдат был мертв. Об этом свидетельствовали страшная гримаса на лице и рана на шее, из которой ровной струей била густая черная кровь...

Поручик Хата почувствовал себя на грани безумия. К горлу подступила дурнота. Он с ужасом отдернул руку. Потеряв равновесие, труп запрокинулся навзничь, гулко стукнувшись головой о палубу. Поручик смотрел на него остановившимися расширенными глазами. Он был как в столбняке. Фонарик все еще горел в руке поручика, освещая большую темно-красную лужу, медленно растекавшуюся по палубе. Один из языков, извиваясь точно живой, пополз прямо к ногам поручика. Брезгливо передернувшись, Хата отступил назад. К нему возвращалась способность действовать и воображать. Он погасил фонарик и вытащил пистолет.

Итак, на танкере враги — демоны не оставляют таких страшных ран. Часовой убит недавно, кровь еще не запеклась. Идти на второй пост бессмысленно. С часовым там, вероятно, тоже покончено, и нет никакой гарантии, что в темноте сам не нарвешься на нож. Надо действовать быстро и решительно. Диверсантов наверняка немного, иначе они уже подняли бы шум. Это, конечно, русские и, конечно, их интересуют пушки. Танкер для них как бельмо на глазу. Надо немедленно поднять тревогу. Стрелять? Глупо, только обнаружишь себя. А диверсанты, как известно, владеют оружием в совершенстве... Куда смотрит дежурный в

рубке?! У него под носом убивают часовых, а эта скотина и ухом не ведет! Мерзавцы! Ни на кого нельзя положиться!.. Скорее в рубку! Включить прожекторы и объявить тревогу. Правда, освещать танкер ночью категорически запрещено, но он плевать хотел на эти запрещения. Как говорит фельдфебель Кавамото, козе не до любви, когда хозяин нож точит...

Перешагнув через труп часового, поручик кинулся к рубке, нащупал поручень трапа. Он опасался, что опоздает, но заставил себя не спешить, боясь сорваться и загреметь. Благополучно миновав трап и крыло мостика, поручик рывком открыл дверь рубки и, оттолкнув поднявшегося ему навстречу дежурного, включил рубильник...



9

А Мунко все не мог убить часового у плотины. Словно чувствуя взгляд ненца, солдат беспокойно озирался и никак не хотел подходить к краю, где в траве затаился разведчик. Всякий раз, пройдя в дальний конец дамбы, часовой поворачивал назад и, как заговоренный, останавливался у незримой черты, отделявшей его от смерти.

«Ну иди, чего не идешь?» — про себя твердил Мунко и поднимал нож, но японец поворачивал обратно.

Мунко опускал руку и вновь распластывался на земле.

«Придешь, однако», — думал он.

Но время шло, а часовой по-прежнему оставался вне досягаемости.

Мунко начал беспокоиться. Ночь давно вступила в свои права, а дело пока еще не сдвинулось с мертвой точки. Тогда, предприняв очередную безуспешную попытку снять часового, ненец решился на отчаянный шаг — пробраться к противоположному концу плотины. Взяв нож в зубы, Мунко пополз по скользкому и крутому скосу. Насколько он длинен, разведчик не знал. Может быть, скоро дерн кончится и начнется бетонное тело плотины, а может, все перекрытие сделано из земли.

«Лучше из земли, — думал Мунко, — по камню плохо ползти, однако».

Но разочарование наступило гораздо раньше, чем Мунко предполагал: едва он прополз десяток метров, как рука наткнулась на какой-то столб. Сердце Мунко екнуло от предчувствия. Это не мог быть случайный столб, в таких местах просто так столбы не ставят.

Осторожно, словно отрастающие олени рога, Мунко начал ощупывать столб. Его рука сантиметр за сантиметром продвигалась по шершавой поверхности, пока пальцы не наткнулись на острый и холодный шип. Мунко отдернул руку.

Заграждение. Проволока, которой он за глаза навидался за четыре года войны. Три года она чуть ли не каждый день вставала на его пути, а теперь преграждала дорогу к единственному месту, где он мог без риска убить часового. Упрямого и из-за этого ставшего ненавистным часового.

Вдоль заграждения Мунко спустился вниз. Проволока тянулась и сюда, отгораживала подходы к плотине и пропадала в реке. Все было знакомо и сделано по пра-

вилам фортификационной науки. Лишь электрический ток «забыли» подключить к проволоке ее создатели, не думая и не гадая, что когда-либо в их дом явится без приглашения русский разведчик.

А разведчика между тем терзал самый настоящий страх. Лежа у воды, Мунко мучительно искал выход из создавшегося положения. Подняться на дамбу он не мог — часовой сразу заметит его. Надеяться, что рано или поздно японец подойдет поближе, тоже не приходилось. И так уже был потерян час. Оставался последний путь — через реку.

Но здесь железная натура ненца не выдерживала. Он панически боялся воды. Это качество родилось вместе с ним и было неотъемлемой частью его существа как и бесстрашие во всех других случаях. Весь народ Мунко боялся воды. Но боязнь эта была не страхом смерти, а боязнью самой по себе, объяснение которой выходило за рамки общедоступного. Так в ужасе кричит мартышка, заведя ползущую в листве змею; так зверь бежит пламени. И лишь одна-единственная сила способна победить эту боязнь — разум. И Мунко обратился к нему.

Медленно текла темная река. С этой стороны она подходила к плотине, и преграда сдерживала естественный ход потока, о чем свидетельствовали крутящиеся впадины воронок, то возникавших вдруг у краев, то так же внезапно исчезающих. И что-то вечное было в уходах и приходах этих мгновенных образований, какая-то близкая связь.

Мунко безоглядно вступил в воду. Она облегла его тело, упорно и настойчиво толкала к подножию плотины, где, словно над входом в местный Аид, клубилась беспроектная тяжкая мгла. Как водолаз расставляя ноги,

Мунко балансировал на илистом дне, шаг за шагом продвигаясь вперед. Вода медленно, но неуклонно поднималась. Сначала она плескалась где-то на уровне пояса, потом мягко сдавила грудь и теперь подбиралась к горлу, ударяя в нос затхлым запахом тины. Собравшись с духом, Мунко оглянулся. Берега не было видно. По горло в воде, ненец стоял на середине реки, не отваживаясь ни вернуться назад, ни следовать дальше. Дно продолжало понижаться, а плавать Мунко не умел.

И все-таки он шагнул. И с головой ушел под воду, успев судорожно хватить ртом воздух. Этот запас и запас легких и вытолкнули его наружу. Он забарахтался в воде, нечеловеческим усилием сдерживая рвущийся из груди крик. Течение подхватило ненца и повлекло его к плотине. Погружаясь и выныривая, Мунко отчаянно боролся за жизнь.

Его спасла близость плотины. Протащив разведчика несколько метров, течение прибило его, полухлебнувшегося, к дамбе, ударило обо что-то железное. Это «что-то» было флянцем трубы, заменявшей японцам один из шлюзов, и за него мертвой хваткой ухватился Мунко. Вода засасывала его в трубу, но ненец прилип к железу, как на присосках.

Отдышавшись, Мунко попробовал разобраться в сложившейся ситуации.

Он находился внутри огороженного проволокой пространства, почти у середины плотины. Часовой расхаживал где-то над ним, и ненцу надо было только подняться, чтобы рассчитаться с часовым за все. После того что Мунко перенес, это не составило бы для него труда. Сложнее было выбраться из воды.

До верхнего края трубы Мунко не доставал, зато нижний, за который он держался, мог стать опорой для

ног. Перехватившись поудобнее, ненец уперся коленом в нижний край. Подтянул другую ногу. Через минуту он уже стоял скрючившись внутри трубы, обдумывая дальнейшие действия. Нужно было выбраться на наружную поверхность трубы. Это могло показаться легким делом лишь со стороны. В действительности же торчавший из дамбы конец трубы был длиной не более полуметра, так что, когда Мунко попробовал перегнуться и лечь на него животом, из этого ничего не получилось. Его голова уперлась в дамбу, и он не смог полностью лечь на трубу, чтобы подтянуть затем ноги. Нужно было попробовать другой способ. Собравшись в комок, Мунко сильно оттолкнулся ногами и, переворачиваясь как акробат, лег на трубу боком. Ему удалось удержаться на ней, и в следующий момент он уже карабкался по склону.

Часовой находился на месте. Он, точно челнок, ходил все тем же маршрутом, упорно не желая переступать известную только ему границу. Но в данный момент это уже не играло никакой роли. Его час пробил. Прикинув вероятную точку встречи, Мунко потянулся к ножу. Но пальцы не нащупали знакомых шероховатостей рукоятки. Ненец не верил себе, но факт оставался фактом: ножа на поясе не было. Видно, он оторвался и упал в воду, когда Мунко влезал на трубу. Правда, оставался пистолет, но Мунко не очень-то рассчитывал на него: в темноте удар мог прийтись не к месту. И тут ненец вспомнил об аркане. Свернутый в кольца, он торчал за поясом — прекрасный ремень из шкуры морского зайца, служивший Мунко, как и утерянный нож, многие годы. Конечно, разведчик не собирался повторять то, что он проделал днем с Уном, — рассчитывать на точный бросок ночью не приходилось, но все же захлест представлялся Мунко более надежным, чем удар пистолетом.

Вытащив аркан, Мунко проверил, не запутался ли он. Потом сложил ремень втрое и приготовился к схватке. Часовой приближался с дальнего конца плотины. За шумом льющейся из труб воды не слышно было его шагов, и солдат казался бесплотным, как бы парящим над землей. Дойдя до «границы», он повернулся и тем же равномерным шагом пошел назад. Солдат был педаптом, это роднило его с немцами и позволяло разведчику надеяться, что в нужный для него момент часовой не изменит своим правилам.

Японец возвращался. Держа аркан наготове, Мунко ждал, и как только часовой, пройдя мимо, подставил спину, разведчик неслышно поднялся. Двумя кошачьими прыжками он догнал часового и, захлестнув арканом его горло, дернул к себе. Часовой захрипел и взмахнул руками. Винтовка съехала с его плеча и упала в грязь. Предсмертным сумасшедшим усилием японец пытался освободиться, но Мунко висел на нем, как клещ, все ту же стягивая ремень аркана. Наконец тело солдата ослабло, и он повалился на землю, колотя ногами. Мунко всей тяжестью навалился ему на лицо...

Сбросив труп под откос, ненец, не задерживаясь ни на минуту, кинулся на дорогу. Он уже не надеялся застать корейца на месте. Однако Ун ждал его. Ужасный вид Мунко объяснил ему все, и он простил разведчику те сомнения и страхи, которых натерпелся, пребывая так долго в темноте и неизвестности.

Они подъехали к плотине. На узкую насыпь повозка не въехала бы, и им предстояло перенести бомбы на руках. Это была последняя помощь, которую Ун мог оказать разведчику, потому что корейцу надлежало возвращаться.

Они перенесли бомбы, и когда холодные пятидесяти-

килограммовые чушки были положены на землю, настала минута прощания. Что могли сказать при этом незнакомые, не понимающие языка друг друга люди? Они не знали ни чужих обычаев, ни правил расставания и оттого испытывали неловкость, еще больше сковывающую их. Но пережитое совместно уже роднило их: его нельзя было отбросить, и, понимая это, они протянули друг другу руки...

Оставшись один, Мунко принялся за работу. Он мог бы взорвать бомбы и так, но ему хотелось немного зарыть их, чтобы сила детонации пошла и вглубь, в земляное тело плотины. Он снял с винтовки убитого часового штык и, торопясь, стал копать траншею. Он чувствовал, что время истекает, но надеялся уложиться в срок.

Он вырыл подобие желоба и уложил туда бомбы. Достал завернутый в плащ-палатку заряд. Проверил зажигательную трубку и шнур. Вынул спички. Кожаный кисет надежно защитил их от воды, и коробка была сухой и чистой. Разведчик уже готовился поджечь шнур, но рука остановилась на полпути: далеко на горизонте, словно огни сияния, в небо взметнулись узкие голубые лучи. И тотчас глухо ударили две очереди. Лучи погасли, но автоматы продолжали строчить — дробно, не переставая.

«Плохо, — тревожно подумал ненец. — Влас и Федька стреляют, однако...»

Все решали секунды. Где-то в темноте хлопнула дверь, раздались слова команды. Охрану поднимали по тревоге.

Сложив несколько спичек в пучок, Мунко поджег шнур. Капли дождя попадали на него, и слабо спрессованная пороховая сердцевина горела с шипением и тре-

ском. Мерцающая красная точка, похожая на огонек цветущего в ночи папоротника, быстро перемещалась к основанию шнура. Он укорачивался на глазах.

Убедившись, что дождь не зальет шнур, ненец бросился прочь от плотины. Он был уже на берегу, когда земля под ним содрогнулась, и уши заложил ворвавшийся в них горячий вихрь. Еще висел в воздухе тяжелый гул взрыва, но уже новый звук возник и стал разрастаться над оглохшей ошеломленной землей — захлебывающийся рев устремившейся к освобождению воды.

Мунко остановился. Взглянув назад, где в темноте kloкотал и кипел водоворот, он метнулся в заросли. Он раздвинул их, и, как будто дожидаясь только этого, из проема навстречу Мунко вылетела длинная огненная стрела и воткнулась ему в грудь.

Разящая сила опрокинула ненца. Он упал на мягкий сырой мох, ощущая торчащий из-под лопаток конец стрелы. Чужое темное небо предстало его глазам, и он смотрел в очертания незнакомых небес, еще не веря, что умирает, что этот низкий свод сомкнется скоро над окоемом его жизни.

А стрелы все летели и летели над ним. Японский пулеметчик, который сидел в бронеколлаке в десяти шагах от Мунко, всполошенный взрывом, все нажимал и нажимал на гашетку, посылая в ночь слепые очереди трассирующих пуль...



10

Знаете ли вы, что такое ночной бой на танкере? Когда против пятидесяти дерутся двое и один из них ранен и истекает кровью? Когда не остается никаких надежд, кроме одной — победить или умереть?

...Разбитые двумя автоматными очередями, погасли прожекторы. Тьма вновь сомкнулась над танкером. После света она стала еще непрогляднее и плотнее, но уже не безмолвствовала, а трещала и озарялась, точно небо в грозу.

Японцы стреляли наугад. Пули с визгом рикошетили от железа палубы, горохом били в щиты пушек. Перекрывая винтовочную пальбу, с мостика ударил пулемет. Сине-багровое клокочущее пламя на рыльце пулемета, похожее на пламя автогенной горелки, казалось приведенным в движение в воздухе.

Невидимый пулеметчик водил стволом, словно брендспойтом. Одна из очередей с оглушающим грохотом ударила в щит, за которым укрылись разведчики.

— Ну-ка шурани его, Федя, — сказал Шергин таким тоном, будто они находились на стрельбище.

— Сейчас, боцман! Сейчас мы его прямым в челюсть!

Встав на одно колено, Калинушкин высунулся из-за щита. ППШ задрожал в его руках. Видимо, японец увидел вспышку, потому что он перестал беспорядочно поливать палубу, а перенес огонь на разведчика.

Смертоносные струи связали противников. Перевес в этой дуэли был явно на стороне японца: каждая очередь его крупнокалиберного пулемета могла в любой момент, как топором, перерубить Калинушкина. Но смерть пока щадила его, и внезапно все кончилось. Блуждающий огонь в вышине погас. Смолк перекрывающий все звуки грохот, и в наступившем звенящем вакууме было странно слышать непохожие на выстрелы хлопки арисак.

— Аут! — сказал Калинушкин, вставляя в автомат новый диск. — Слышь, боцман? Кранты самураю!

Шергин не ответил ему. Прислушиваясь к выстрелам и крикам в темноте, он с беспощадной ясностью представил себе неминуемую развязку. Японцев не меньше полусотни. Пока они еще не знают, с кем имеют дело, но рано или поздно поймут, что против них только двое.

И тогда полезут напропалую. Минут десять они с Федором продержатся, а там рукопашная и...

Он не стал думать дальше. Мысль более сильная, чем мысль о смерти, владела его сознанием. Пушки! Если их не взорвать теперь, то через десять минут будет поздно. Все пойдет прахом. Они погибнут, а пушки останутся целыми. И разнесут баржи с десантниками как гнилые арбузы...

Огонь японцев вновь усилился. Теперь он стал более организованным, и это было верным признаком того, что солдаты готовятся к решительным действиям. Разведчики отвечали короткими очередями, лишь иногда выпуская лишний десяток пуль в то место, где, как им казалось, назревали какие-то события. Опять заработал пулемет, и под его прикрытием японцы стали сосредотачиваться для последнего броска.

Шергин стиснул локоть друга. Калинушкин обернул к нему лицо, на котором неистово сверкали белки цыганских глаз.

— Давай попросимся, Федя.

— Ты что надумал, боцман?

— Попрощаемся давай, говорю... Пора кончать эту богадельню.

— Говори толком!

— А разве я без толка? Снаряды-то под нами! Жах-путь парочку гранат — и амба! Ни костей, ни перышек!..

Калинушкин вплотную придвинулся к Шергину, вглядываясь в него так, словно видел впервые. За какие-нибудь полчаса Шергин сильно изменился: лицо его осунулось, глаза запали. Он часто и тяжело дышал, и Калинушкин понял, что боцман держится из последних сил.

«Эх, Влас, Влас... Фрицы нас не взяли, а тут... Ну ничего, боковы дети! Думаете все?! Хрен вам!..»

— Ты прикрой меня, Федя...

— Давай, боцман! — яростно зашептал Калинушкин. — Сыпь! У-у, сучьи души!..

Уползая в темноту, Шергин слышал, как бешено заработал автомат Калинушкина.

Выпустив добрую половину диска, Федор заставил японцев залечь. Хуже было с пулеметом: расчет не жалел патронов, как метлой, подметая палубу. Выбрав удобный момент, Калинушкин переполз ко второму орудию. Здесь он разложил перед собой запасные диски и гранаты и стал ждать.

Он знал, что это его последняя позиция, но не думал о смерти. Эта мысль была для него сейчас глубоко безразлична, как и мысли о самом себе. Он ощущал себя каким-то посторонним существом, о котором не надо заботиться и переживать, потому что и заботы и переживания предназначались другим: Шергину, который полз где-то в темноте, задыхаясь от напряжения и боли, товарищам на берегу, которые молча и скорбно прислушиваются к перестрелке, женщинам, которых он любил и которые любили его, — всей той жизни, которая была, есть и будет... Время медленно текло сквозь него. Оно не замедлило свой бег, но его образы устойчиво удерживались в сознании, смешивались в общий мотив, в котором звучали радость, любовь и боль...

Пуля ударила его в плечо. Он содрогнулся, но не от удара, а от неожиданности и удивления перед случившимся. И впервые подумал, что может быть убит. Это ужаснуло его своими последствиями: Шергин еще не добрался до погребка. И не доберется, если его, Федора

Калинушкина, убьют раньше времени. Все лопнет как мыльный пузырь... И те гады опять зашевелились.

Калинушкин вырвал из дыры в ватнике клочок ваты и заткнул им рану. Затем со злостью ударил по ожившим японцам длинными очередями.

— Давай, давай! Подходи, гады! — сквозь зубы бормотал он и ругался страшными ругательствами, которые звучали сейчас как заклятья...

Добравшись до тамбура, Шергин отдраил дверь и ввалился в тесное помещение. Вниз вел крутой трап, но прежде чем спуститься, боцман ударами приклада заклинил за собой дверь.

Бой на палубе разгорался. Выстрелы слились в сплошной гул, и Шергин подумал, что на этот раз одному Федору долго не продержаться. Автомат Калинушкина бил не переставая, потом одна за другой гулко грохнули две гранаты.

«Окружили», — с болью и отчаяньем подумал Шергин, спускаясь по трапу.

Был миг затишья, когда боцману показалось, что наверху все кончено. Он остановился, но тут же автомат ударил вновь, и буйная, пьянящая радость охватила Шергина.

«Держись, Федя, держись, браток! — шептал он, преисполненный великой любви и благодарности к другу. — Я сейчас...»

Он наконец спустился, чувствуя невероятную боль внизу живота. Казалось, к нему привесили пудовую гирю.

Освещенные лучом фонарика, из темноты трюма

выступили штабеля ящиков. Тут же стояли уже готовые к применению снаряды.

— Годится! — вслух сказал Шергин.

Он положил фонарик на ящик и достал гранаты. Страху не было. Лишь неизбывная тоска по всему, что останется после, томила Шергина. Она была тяжела, как удушье.

Он поставил гранаты на боевой взвод. Матово поблескивающие головки снарядов притягивали к себе взгляд. Не отводя глаз от этого тусклого смертельного сверкания, Шергин поднял руки с гранатами. Он уже не слышал наступившей наверху тишины и не знал, что Федор Калинушкин умер, прошитый очередью из зенитного пулемета «гочкис», и что сейчас японцы глумятся над его телом. И только когда в дверь посыпались удары, он, не оборачиваясь, торжествующе сказал:

— Стучите, сволочи, стучите!

И с размаху опустил руки...



11

Жизнь едва теплилась в израненном, изуродованном теле Мунко. Остывающие члены уже не чувствовали ни холода просочившейся сквозь мох воды, ни горячего тепла крови, которая, смешиваясь с водой, пропитывала мох, уходила в землю. Вместе с ней погрузился в небытие Мунко. Сознание то покидало ненца, то возвращалось вновь, и в эти краткие минуты просветления одна лишь мысль терзала его — мысль о том, что он умирает не на своей земле. Что дух его не обретет покоя, скитаясь по нивам чужой жизни. И нестерпимее становилась

смертная мука, и боль отпускала онемевшее тело и сосредоточивалась в одном месте — в душе.

А ночь все длилась и длилась, и время умножало бессилие и страдания Мунко, ввергая в мрак и возвращая к свету. И все длиннее были промежутки тьмы, все реже билось разорванное железом, обескровленное сердце, все тише звучали мировые звуки и скоро смолкли совсем. Иная музыка — торжественные и высокие хоры — грянула в высоте для него одного. Звучащая эфирная волна подняла Мунко с кровавого и холодного ложа и вознесла над ночью. Ослепительный свет блеснул в разрывах клубящихся туч, и он увидел тундру. Затаившаяся волна унеслась вдаль, за край земли, оставив Мунко посреди великого разнотравья.

Ни чума, ни дымка не виделось вокруг, и непохоже было, чтобы люди жили в этих местах, но Мунко знал, куда идти. Неведомая сила управляла им, влекла к закатному горизонту, откуда исходил таинственный и странный зов.

День шел Мунко. А потом увидел озеро. Дикие гуси плавали в нем. И Мунко вошел в воду и стал гусем. И братья сказали ему: «Иди к вершине, обильной пищей, иди на место твое, где опадают перья весенних гусей, где осенние гуси одевают свои перья. Иди в город твой, висящий на конце жилы...»

И еще день шел Мунко. Река на пути. И стал он рыбой. И мать-нельма сказала ему: «Иди к берегу твоей извилистой протоки, иди на место твое, где дети наши и любовь наша. Иди в твой город, висящий на конце крапивной нити...»

Третий день идет Мунко. Олени встретились ему. И старый самец, в глазах которого отражалось небо, сказал: «Иди к пастбищу твоему. На место твое иди, где

летний заяц и нежная женщина. Иди в твой город, висящий на ветках семи берез...»

На четвертый день вышел Мунко к другой реке. Черная вода текла в ней, черная трава росла на берегу, а за поворотом увидел Мунко черный чум. Удивился Мунко: сколько лет жил в тундре, не видел таких чумов. Остановился он. Тихо было возле чума. Ветер не дул в этих краях, вода не плескалась. Только кричала в реке невидимая птица гагара. Долго стоял Мунко. Хотел уже войти в чум, посмотреть, но тут вышел к нему большой старик.

«Старый, однако, — подумал Мунко, — совсем белый».

— Вот ты пришел! — сказал старик.

И Мунко увидел его мертвое костяное лицо. И понял, что пришел на Монготта, реку Мертвых, где живет бог Нум — отец всех ненцев.

— Я миндумана¹, — ответил Мунко.

— О савà! — сказал старик. — Глаза Нума видели твой путь. В чум пойдем. Лаханако² будет. Язык оленя будет.

Черные постели³ лежали в чуме. Старик усадил Мунко напротив входа — на место почетного гостя. Поставил два блюда — с языками и кровью. Уселся сам.

— Ешь, однако.

Мунко взял язык, обмакнул в кровь, стал жевать нежное, терпкое и солоноватое от крови мясо.

«Вера такая⁴, — думал он. — Ненцы всегда ели мя-

¹ Я миндумана (ненецк.) — по земле жизни я пришел.

² Лаханако — разговор.

³ Постели — оленьи шкуры.

⁴ Вера такая — обычай такой.

со с кровью. Нельзя в тундре без крови, кости мягкими станут...»

Старик с одобрением глядел на него.

— Ты хорошо воевал, — сказал старик. — Нум видел твои дела. Ты сын своего отца.

— Слабого оленя догоняет сармик¹. В моем роду не было слабых.

— О савá! — откликнулся старик. — Не было! Все улетели к верхним людям². Ты последний. Худо, однако. Закончится род.

— Семя мое в детях живет.

— Сколько пешек³ замерзает в буран? Дети твои малы. А буранов в жизни много.

— Вырастут дети. Ванойти хорошая мать.

— О савá! — сказал старик.

Они доели языки и допили кровь. Старик поднялся:

— Пойдем, однако.

Они вышли из чума.

— В тебе больше сил, хахая нями⁴, — сказал старик, — взойди на высокое место, покричи оленей. Три раза покричи, больше не надо.

Поднялся Мунко на холм, смотрит — нигде ни одного оленя нет. Однако закричал три раза. Взглянул — из-за реки бегут три черных оленя. В воду бросились, поплыли. На берег вылезли.

Стал старик запрягать оленей. Левого вперед выдвинул, пелекового⁵ запряг, третьего в середину поставил. Постель положил в нарту.

¹ Сармик — волк.

² Улететь к верхним людям — умереть.

³ Пешка — новорожденный олень.

⁴ Хахая нями — мой младший брат.

⁵ Пелековый — правый.

— Три года меня не будет, а ты на четвертый год выходи ко мне навстречу.

Только эти слова и сказал старик. И прах поднялся над тундрой, и свист многих крыльев наполнил ее: звери бежали прочь и птицы летели на другую сторону. Они так сильно махали крыльями, что погас огонь в чуме. А кто не успевал убежать и улететь — падали под копыта черных оленей.

Три года как три дня прошло. Живет Мунко в чуме, сам не знает, живой он или мертвый.

Вечером загремела нарта.

«Должно быть, старик», — думает Мунко. Только подумал — анас¹ показался. Нум, как сыч, сидит, совсем костяным сделался.

— Как съездил? — спросил его Мунко.

— К брату ездил. К Падури². Хороших бегунов³ дал брат. Садись, поедem на место твое.

Попрыск⁴ ехали. В полдень увидели одного дикого оленя.

Старик сказал:

— Изготовь твой лук, хахая нями.

— Где ж возьму его? — спросил Мунко.

— Разве не видишь, — сказал старик, — в нарте твой лук.

Изготовил лук Мунко. Выстрелил. Дикий олень упал. Подъехали они к тому дикому оленю — стрела шею его пополам разрубила.

Старик опять сказал:

¹ А н а с — нартовый поезд, аргиш.

² П а д у р и — бог, покровитель оленей.

³ Б е г у н — быстрый олень.

⁴ П о п р ы с к — пробег оленя от остановки до остановки.

— Изрядная сила у тебя, мой брат.

Съели они печень оленя. Остальное в нарты положили, дальше поехали. Еще попрыск гнали. Пристали олени, хромать начали. Старик бросал им кровь¹ из копыт.

К берегу приехали. Желтый лед лежал на воде. Снова удивился Мунко: сколько лет жил в тундре, не видел льда летом. Спросил у старика.

— Это мой мост. По этому мосту я хожу к людям; и это не лед, а железо.

За мостом снова трава пошла, знакомые места стали встречаться. Старые чумовища² увидел Мунко, а еще дальше — сломанные опрокинутые нарты, торчащие к небу тюры³ и олени мертвые головы. Догадался, что старик привез его к родовому хальмеру⁴. Отец похоронен тут. И отец отца. И все мужчины рода.

— Слезай, — сказал старик. — На земле предков умрешь. Нум будет твоим самбаной⁵.

Старик поднял бубен. Солнце и луна были нарисованы на нем и ребра оленя.

Трижды прокричала гагара⁶.

— Не спеши, — сказал старик, — Нум еще не сделал бубен летним⁷.

¹ Бросать кровь — пускать кровь.

² Чумовища — места, где стояли чумы.

³ Тюр — шест, с помощью которого управляют оленями, хорей.

⁴ Хальмер — кладбище.

⁵ Самбана — лицо, ведающее похоронами и проводами души умершего в загробный мир.

⁶ Гагара играла большую роль в верованиях ненцев. Ей приписывалось содействие Нуму при сотворении мира. Кроме того, она «несла в небо» молитву шамана.

⁷ Сделать бубен летним — разогреть его, улучшив тем самым звучание.

Опять закричала гагара.

Старик ударил в бубен колотушкой. Гром прокатился по тундре, и стало слышно и видно до самого края. На полуночи белый медведь грыз нерпу, волк преследовал оленя на восходе, и в других концах слышались вопли и стоны.

— Белый олень! — крикнул старик. — Из дома, покрытого черным зверем, приди сюда!.. Удержи свой гнев!.. С чистого неба на холмистую землю спустись!.. На сотворенную молодую траву спустись!.. На белого оленя сядем верхом, белую олениху поведем в паре!.. В город твой спустись!.. Заговори!.. Явись, могучий!..

Смотрит Мунко — черной тундра стала, будто ночь наступает. Видит — нож достал старик.

— В место твое иди!

И погрузил нож в грудь Мунко. Из-под лопаток вышел нож, разрезав сердце. И небо упало на Мунко.

...Падал и падал дождь. Сладкие испарения, заглушая запах сгоревшего тола, поднимались от земли, и вместе с ними над поникшими травами витал успокоившийся дух Мунко.



12

С первой и до последней минуты — с того рокового момента, когда, как гром, раскатилась первая очередь, и до чудовищной вспышки над морем — Баландин верил, что счастье и этой ночью не изменит Калинушкину и Шергину. Сколько раз в своей жизни они были на волоске от смерти и всегда уходили от нее. Уйдут и сейчас. Не те это были люди, чтобы погибнуть в, быть может, последнем бою. Не те!

Прислушиваясь к перестрелке, он пытался представить, что же произошло на танкере. Какая случайность подстерегла разведчиков? В чем спло-

ховали друзья, о бессмертии которых говорили и в шутку и всерьез? В которое уверовал и он, как втайне верят в невозможное.

Еще до начала событий, мысленно проделывая тот путь, который предстояло проделать Калинушкину и Шергину, Баландин все больше утверждался во мнении, что, несмотря на трудности, разведчикам удастся взорвать пушки. Были, были к тому немалые предпосылки!

Размышляя и так и этак, Баландин готов был поклясться, что никому, даже самому бдительному и недоверчивому человеку на танкере, не могла прийти в голову мысль о готовящейся диверсии. Слишком невероятной должна она казаться людям, чувствующим себя в полной безопасности под охраной своих батарей. Война войной, но существовали пределы допустимого, и с этой точки зрения возможность диверсии не лезла ни в какие ворота.

Самое трудное для ребят — подняться на танкер. Здесь можно дать маху. Ночь, кошки придется бросать вслепую. Зацепятся ли? Да если и зацепятся, карабкаться по капроновому ленд-лизовскому тросу в мизинец толщиной — трюк, прямо скажем, цирковой. Это не по шкентелю с мусингами¹ подниматься. Там тебе и трос раз в десять потолще, и узлы через каждые полметра — лезть не хочу... Только бы добраться до палубы, а там мальчики сообразят, что к чему. Взрывали и пушки, и доты, и чего только не взрывали. Опыта не занимать. Шум, конечно, поднимется, но пока на танкере очухаются, Федор с боцманом успеют уйти. Ищи ветра в поле...

¹ Шкентель с мусингами — толстый трос с узлами.

В этом смысле положение Мунко, который в данный момент пребывал неизвестно где, казалось Баландину намного серьезнее, и в мыслях он все чаще обращался к ненцу, призывая на помощь и фортуна, и Николу морского, и прочих угодников, какие только существовали на свете.

Вой сирены и прогремевшие вслед за тем очереди ошеломили Баландина. В один миг представилось ему все: мертвый танкер, кипение моря на рифах, яростные лица Калинушкина и Шергина. О них, только о них думал в эти отчаянные минуты их командир. Прислушиваясь к перекатам и нарастанию огня, он зримо видел все перипетии грохочущего в темноте боя, всем сердцем ощущал его трагичность, его ожесточенность и накал. Его душа рвалась на помощь боевым соратникам; его мысли принадлежали им, и в мире не было силы, которая остановила бы этот мощный поток излучения. Одна надежда владела им и питала его — что счастье и этой ночью не изменит Калинушкину и Шергину. Уйдут! Не могут не уйти!..

Взрыв оборвал все надежды. Воздушная горячая волна, в которой растворились бессмертные души друзей, пронеслась над головами, ударяясь о скалы и вырывая с корнем чужую экзотическую траву. Огромная тяжесть вдавила Баландина в землю, но он превозмог ее и приподнялся на локтях, невидящим взглядом всматриваясь в сгустившийся еще более мрак. Сырая плотная завеса скрывала все, но ему чудилось, что сквозь нее, сквозь все помехи мирового эфира прорываются и летят к нему живые голоса Власа и Федора...

Свистящий шепот Одинцова вернул Баландина к действительности:

— Японцы, командир!

Баландин обернулся и сразу увидел тех, кого возненавидел за эти короткие минуты. Трое солдат с винтовками наперевес стояли в пяти шагах от них, не решаясь углубляться в неизвестность и темноту. Японцы еще не видели разведчиков, и Баландин решил не принимать боя. Махнув рукой Одинцову, он пополз в сторону от тропинки, бесшумно раздвигая траву.

Но скрыться им не удалось.

— Томарэ! — гортанно крикнул передний солдат и поднял к плечу винтовку.

Таиться не имело смысла. С кошачьей ловкостью перевернувшись на спину, Баландин очередью от живота свалил всех троих. Он бил в упор, и было слышно, как пули с треском раздирают человеческую плоть. Поднявшись, Баландин привлек к себе радиста:

— Не отставай! Попробуем проскочить!

Они осторожно двинулись вперед, готовые в любой момент пустить в ход автоматы. Но вскоре оба поняли, что пробиться без боя не удастся: вокруг вдруг все пришло в движение, тут и там раздавались выкрики и голоса, и топот множества ног слева и справа, впереди и позади возвещал о том, что они находятся в самой гуще неприятельского расположения. И когда прямо на них из травы выкатилась темная масса людей, у разведчиков не оставалось времени на раздумывания. Кинжальными очередями они вспороли эту массу и, укрываясь от роя полетевших навстречу пуль, бросились ничком на дно неглубокой ложбинки, в которой хлупала тепловатая застоявшаяся вода.

Впереди раздавались стоны и крики, но их перекрывали властные слова команды; они раздавались со всех сторон, и Баландин понял, что сюда, к ложбинке, где залегли они с радистом, спешат все, кто находится по-

близости. Спешат, привлеченные выстрелами и погоняемые силой приказа.

«Все, — подумал он, — не выкрутиться». И ощутил странное спокойствие. Мысль о близком конце не удивила и не испугала его. Он чувствовал лишь огромную усталость, но не догадывался, что это была усталость не тела, а души; усталость, рожденная видом непрерывных смертей и убийств; усталость, которая давно копилась в нем, от которой поседели виски, которая заставляла его просыпаться по ночам и прислушиваться к чему-то внутри самого себя.

Он посмотрел на радиста. Одинцов с деловитым видом раскладывал возле себя гранаты и запасные диски.

— Боишься, сержант? — спросил Баландин. Ему не хотелось сейчас видеть рядом с собой слабого человека.

— Жалко, командир, — ответил радист, продолжая возиться с дисками.

Он не сказал, чего именно ему жалко, и Баландин так и не дождался от него более вразумительного ответа. Это не рассердило Баландина, как не рассердило и то, что Одинцов уже дважды за последние несколько минут назвал его «командиром», хотя так Баландина называли лишь старые разведчики, воевавшие вместе с ним еще на Севере. В другое время Баландин не преминул бы напомнить о субординации, но в последний час ему не хотелось обижать радиста.

— Давай связь, сержант, — сказал он.

Привычным движением открыв рацию, Одинцов надел наушники и закрутил верньером, настраиваясь на волну.

Баландин жестом остановил его.

— Клером¹, — сказал он. Настраиваться уже не

¹ К л е р — открытый текст.

было времени. — Передавай: задание выполнено. Ведем бой. Прощайте.

Одинцов застучал ключом.

Прислушиваясь к писку морзянки, Баландин не отнимал пальца от спускового крючка. Он чувствовал, что кольцо вокруг них сомкнулось, вот-вот начнется атака, и не хотел пропустить этот миг. Он знал, что сумеет задержать японцев на то время, пока Одинцов ведет передачу. У него был автомат, по сравнению с которым арисаки японцев выглядели просто-напросто самоделками. Правда, арисак было много, но мощь автомата все равно превосходила их. Особенно сейчас, в ближнем бою, когда надо будет бить в упор.

Отстучав текст, Одинцов стал дублировать его. Он дошел до половины, когда началась атака. Радист схватился было за автомат, но Баландин подтолкнул его к рации.

— Передавай! — крикнул он.

Для начала Баландин прошелся веером по всей цепи наступающих и, когда среди них произошло замешательство, стал бить по тем участкам, где наиболее упорные пытались пробиться вперед.

Валилась срезанная пулями трава, образуя узкие просеки. Гильзы с коротким шипением падали в воду на дно ложбинки. Плясало пламя на конце дульного среза. Оно выдавало Баландина, и он старался за один раз выпускать не более четырех-пяти пуль. Краем глаза он увидел, как, закончив передачу и захлопнув ненужную больше рацию, пополз на другой конец ложбинки радист. Через секунду и там заметалось пламя, и пространство впереди огласилось новыми криками и стонами. Японцы откатывались.

Баландин посмотрел на часы. Стрелки подходили

к четырем. С момента высадки группы на остров прошло уже больше суток, и в эти самые минуты кончался назначенный Баландиным срок сбора. Бот, если он еще ждал их, наверное, готовился к отходу.

«Все, старлей, — сам себе сказал Баландин, — не будет большого сбора. Никакого сбора не будет...»

Только двое из разведчиков еще могли успеть к сроку — Мунко и Рында, но Баландин не знал, что ненца уже нет в живых, а что Рында лежит сейчас у моста, поджидая ползущие по дороге танки...

Противный вой раздался в воздухе, и недалеко от ложбинки, как жаба, шлепнулась мина. Осколки тоненько пропели над головой.

— В рот бы им кило печенья, сержант, — сказал Баландин. — Миномет приволокли, гады! — И выругался в бога, в мать и в фордуны.

Мины продолжали шлепаться вокруг ложбинки. Японцы так и не засекли ее и били по площадям.

Обстрел продолжался минут десять; вслед за тем раздались такие неистовые крики, что за ними не стало слышно винтовочной трескотни.

— Держись, сержант, — предупредил Баландин, удобнее прилаживая автомат, — похоже на психическую.

Японцы и в самом деле лезли напролом. Автоматы разведчиков работали без перебоя, но два человека не могли поспеть всюду, и скоро настал момент, когда им пришлось вспомнить о гранатах. Их было десять, и пять из них одна за другой вылетели из ложбины, разметав нападавших, заставив их снова искать спасения в бегстве. Не дожидаясь, пока солдаты выйдут из опасной зоны, опять ударил миномет. Тяжело ухнув, мина разорвалась у самого края ложбины.

— Теперь засыплют, — сказал Одинцов и посмотрел на Баландина.

Старший лейтенант сидел на дне ложбины, держась руками за грудь. Из рта у него текла кровь. Он силился сплюнуть ее, но кровь текла и текла, расплываясь по ватнику черным жирным пятном. Одинцов бросился к Баландину. Тот смотрел на него осмысленным строгим взглядом, и эти строгость и осмысленность сказали радисту все. Он быстро расстегнул на Баландине ватник, разорвал гимнастерку и тельняшку. Рана была ужасна: осколок наискось разорвал грудь, и казалось чудом, что командир еще жив и пытается что-то сказать Одинцову.

Перевязав Баландина, радист уложил его поудобнее и, собрав в одну кучу все гранаты и диски, занял свое место. Когда началась атака, он подпустил японцев почти в упор и только тогда разрядил в них взятый у Баландина диск...



13

Лязг все нарастал. И свет уже был не светом, а снопами огня, то упирающимися в землю, то подлетающими вверх: качаясь, как слоны, к мосту шли танки, и пламень фар метался в такт тяжелому движению машин. Скрежеща и завывая моторами, они железной змеей ползли по дороге, раскидывая в стороны мокрую землю.

Вжавшись в мох, Иван следил за их приближением. Пять танков, грохоча и буксуя, накатывали на мост, и в свете фар их мокрая и скользкая броня казалась складчатой кожей

допотопных чудовищ, испуганных чем-то и в слепой панике крушащих и перемалывающих все на своем пути.

Но ходу вперед им не было. Это Иван знал и с нетерпением дожидался того момента, когда передний танк вползет на мост.

Танк надвинулся; одна фара у него не горела, и он заворочался перед мостом одноглазой глыбой; гусеницы со скрежетом прокрутились, бросив в стороны ошметья прилипшей к ним глины; дохнуло горячим и едким дымом выхлопной трубы.

Впереди была глубокая рытвина, танк с ходу ввалился в нее, выскочил, но перед самым мостом сел днищем в другую яму, закрутился волчком. Было слышно, как водитель гремит рычагами в утробе танка, виднелись заклепки на его скошенных лобовых плитах и синие драконы на бортах.

Пятясь, неуклюже и тяжело задирая зад, танк выбрался из ямы и, обойдя ее, стал взбираться на мост. Настил дрожал и стонал от тяжести; цепляясь за бревна, гусеницы уродовали и рвали их. Окутанная паром и дымом, серо-зеленая машина медленно подбиралась к середине моста.

И тут грянуло.

Бревна вдруг вспучились под танком и начали разламываться, как спички. Фонтан огня и грязи взметнулся над мостом.

Подброшенный взрывом, танк опрокинулся и, задержавшись на мгновение у края, стал рушиться под обрыв, гремя разорванной гусеницей, которая, словно хвост агонизирующего зверя, молотила его по смятым, искореженным бокам.

Минуту слышалось это железное падение, этот смертельный грохочущий обвал, потом внизу сильно плеснуло, и грохот смолк. Прах и дым осели, и, будто кости обнажившегося остова, стали видны торчащие, развороченные бревна моста.

Освобожденная энергия сжала время в эпицентре взрыва. Но за его пределами оно продолжало течь с неизменной скоростью, и с такой же быстротой реагировали на изменение условий люди. И эта разница в скорости физических реакций и реакций на них человеческого организма пагубным образом повлияла на то, что произошло вслед за взрывом: приостановленный маневрами ведущего, второй танк затормозил перед мостом; но водитель третьего, не ожидавший ни взрыва, ни мгновенной гибели первого танка, ни остановки второго, с ходу наскочил на него.

Удар пришелся в баки. Они вспыхнули багровым, коптящим и жирным пламенем, которое потекло по броне и тут же перекинулось на ударивший танк. Будто обожженный излившимся на него горячим потоком, танк взревел и рванулся назад, но что-то держало его; какой-то крюк или трак зацепился за тело чужой машины, и уже обе они, охваченные шипящими огненными языками, ревели и катались в грязи, как схватившиеся насмерть мифические единороги. Но крюк крепко держал их, и когда наконец, вырванный с мясом, он отпустил сцепившиеся машины, им уже ничто не могло помочь — они пылали, как факелы.

Танкисты стали прыгать из люков. Когда все шесть человек оказались на земле, Иван срезал их одной длинной очередью. Еще, нелепо взмахивая руками, как куклы, валились танкисты, а Иван уже метнулся на другую сторону моста. И вовремя: град свинца из двух остав-

шихся танков тотчас обрушился на то место, где он только что лежал.

— На-ка, выкуси! — злорадно сказал Иван и показал танкам дулю. — Сунетесь — в два счета кранты сделаю.

Но танки без этого предупреждения уже пятились, точно раки, назад: в горевших машинах начались рваться боеприпасы, и уцелевшие поспешили ретироваться.

Моторы урчали все глуше, и Иван подумал, что инцидент можно считать законченным. Моста нет, а пока его наведут, всякая техника может спокойно загорать в гаражах и ангарах. Но рокот моторов вдруг вновь усилился. Теперь он раздавался слева от дороги, и это было непонятно. Слева лежали непропуски, а по ним не то что танк, лошадь не прошла бы. Однако скрежет, перемешанный с чавканьем, какое производит землечерпалка, доносился именно с того, как казалось Ивану, гиблого места.

Удивленный и озадаченный, он смотрел на расстилавшуюся в пятидесяти шагах от него кочковатую низину, ожидая увидеть на ней нечто небывалое. Вместо этого он увидел танк. Покрытый грязью и болотной жижей, он не спеша пробирался вперед, подминая под себя кочки и амортизируя на них как на подушках. Зыбь ходуном ходила под танком, но он, словно огромный гиппопотам, отфыркиваясь и урча, преодолевал непропуск.

Наконец Иван понял, в чем дело. Приближавшийся танк не был тяжелым КВ или даже Т-34. Это был легкий японский танк, приспособленный к местным условиям. Он, как колхозный трактор, на котором до войны работал отец Ивана, мог с легкостью пройти и по настоящему болоту.

— Вот вша! — сказал Иван. — Ползет, гнида, и фамилии не спрашивает!

Улегшаяся было злость вспыхнула в нем с новой неистовой силой. Позади, быть может, гибли его товарищи, а он ничем не мог помочь им. Он взорвал мост и угробил три танка впридачу, а этот драндулет ползет как ни в чем не бывало! А там и второй, глядишь, объявится...

Иван пересчитал гранаты. Пять «лимонок». Малова-то, да и не для танков, но ведь и танки не немецкие. Банки консервные, а не танки. Звон один. Он связал гранаты. Связку из двух сунул за пазуху, из трех — взял в руки. Выглянул. Танк буксовал на середине не пропуска. Водитель, видно, был осторожен, он не рвал рычаги, а работал «враскачку» — взад-вперед. Метр за метром танк вылезал из хляби.

Оценив все, Иван понял, что выпускать танк на сухое место нельзя. Тут он натворит дел. Лучше всего встретить японца вон у той кочки. Защита, конечно, липовая, но все лучше травы.

Танк приближался. Лежа за кочкой, Иван дожидался, когда машина, проходя мимо, подставит под удар борт. Бросок должен быть точным, иначе танк без задержки выскочит на дорогу.

— Постой, стерва! Я тебя укорочу! Я тебе сверну рожу набок! — твердил Иван.

Танк приблизился — горячий, грязный и зловонный. Быстро поднявшись из-за кочки, Иван метнул связку в трансмиссию. Приглушенно ухнуло. Танк закрутился, как ерш на сковородке, подергался и стих. Но кто-то еще оставался живым у него внутри, потому что вдруг ударил один из пулеметов.

«Давай, — подумал Иван, — пали на здоровье. А я подожду, пока ты поджаришься».

Танк задымил. Люк со звоном отвалился, из него показался толстый японец, спешивший покинуть горящую машину.

— Привет! — сказал Иван, ловя танкиста на мушку. Тот так и не успел выбраться из люка, повис на башне вниз головой.

Боеприпасы уже рвались повсюду, когда на дальнем конце болотины показался последний танк. Его водитель не осторожничал и гнал по проложенной колее, как по дороге. Танк начал стрелять издали остервенело, из обоих пулеметов. То ли стрелок догадывался, где танк могут поджидать, то ли действовал наобум, но очереди ложились рядом с Иваном. Одна, как огнем, прожгла кочку, расплосовала рукав ватника. Иван рванулся назад, но вспомнил, что все равно не успеет добежать до моста, срежут. Оставалось одно — укрыться за подбитым танком. До него было не больше двух десятков шагов.

Иван метнулся. Он уже почти добежал, когда по правой руке будто хватила кувалдой. На миг ему показалось, что руки нет, и он остановился, но переборол внезапный испуг и добрел до танка. Рукав набухал кровью, которая пачкала железо, землю, траву.

Жаркая истома охватила Ивана. Он сел в грязь возле танка, прижавшись лбом к холодной броне. В голове гудело, и он не мог понять, гудит ли это остывающая броня или отливает от сосудов уходящая из тела кровь.

Грохотанье набегавшего танка всколыхнуло Ивана. Ненависть к железному существу, которое через минуту раздавит его, воннет в грязь, перекрутит и выбросит, подняла Ивана на ноги. Здоровой рукой он достал из

за пазухи гранатную связку. Зубами выдрал чеку. Теперь оставалось лишь разжать пальцы.

Танк показался. Обходя подбитый, он свернул с колеи, надсадно завывая мотором. Оттолкнувшись от борта, Иван, шатаясь, пошел ему навстречу. Он находился в мертвом пространстве, и очереди со свистом проносились у него над головой. Он не мог упустить этот танк и напрягал все силы, чтобы не упасть раньше времени. Если бы разверзлись вдруг небеса и свет осветил бы землю, ничего, кроме смерти, не прочел бы водитель на окаменевшем лице окровавленного матроса.

Но небеса не разверзлись, и, когда танк наехал, Иван лег ему под правую гусеницу. Он ощутил неодушевленность сформованного человеческими руками металла и хотел закричать, но сдавленная грудь не вобрала воздуха. Тогда он, как на колени женщине, положил голову на землю и разжал пальцы...



14

Они пришли и молча сели рядом — Мунко, Иван, Шергин, Калинушкин. Их бескровные лики были спокойны; их мертвые зеницы смотрели сквозь него; их отверзлые раны, как язвы, покрывали простреленные, обезображенные тела. Их губы шевелились, обращая к нему беззвучную речь, но нем и непонятен был этот мертвый язык.

Угасающим, меркнувшим взором Баландин смотрел на них, и образы прошедшей жизни тихо всплывали со дна памяти и, как уносимые ветром листья, пропадали в немой, ожи-

дающей его дали. И бесконечен был их ход, и ни один образ не повторился дважды; и эти бесконечность и неповторяемость удивляли его и были так же недоступны для понимания, как лоно и сила, их породившие.

Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч: его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, не озарив ее тайн, красот и бедствий...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОВЕСТИ «ПРИБОЙ У КОТОМАРИ»

Подвиги советских воинов в Великой Отечественной войне, и в том числе подвиги разведчиков-диверсантов, еще не полностью освещены нашей литературой. Правда, усилиями ряда писателей и работников кино образ армейского разведчика в последнее время приобретает довольно зримые черты. Однако он чаще всего рисуется таким сверхчеловеком, которому все доступно, который все может и побеждает играючи. Отсюда у молодых людей, не прошедших войну, очень часто создается впечатление, что разведка — это сплошная романтика, блеск орденов, красивая и веселая жизнь. Порой можно прочитать или услышать о разведчиках как о людях, не знающих страха, своего рода сорвиголовах. Ошибочное мнение! Для меня, разведчика-диверсанта, который, как и герои повести Бориса Воробьева, всю войну противостоял немецким горным егерям в горах Норвегии и Северной Финляндии и который принимал участие в разгроме японских империалистов, такая точка зрения неприемлема и неприятна.

Поэтому здесь я хочу сказать о первом и очень важном достоинстве повести Бориса Воробьева — продуманном и правдивом показе автором своих героев. Все шесть человек, составляющие группу старшего лейтенанта Сергея Баландина, — это простые советские люди, понимающие, что разведка не романтика, а труд. Тяжелый и опасный, но необходимый Родине труд, без которого нет побед в кровопролитной войне. Все шестеро — патриоты, добровольно идущие на выполнение рискованного задания, сознающие его необходимость. Это настоящие мужчины!

В своем романе «Тропою гнева» писатель Явдат Ильясов говорит: «Мужчина — еще не тот, кто может отрастить усы и бороду, кто способен выпить бурдюк вина, и не тот, кто умеет ласкать женщин, а тот, кто закрыл свое сердце для всего мелкого, обыденного, пошлого и вступил на тропу подвига».

Вот такими людьми, идущими тропой подвига, я вижу героев повести Бориса Воробьева. Правдиво, ненавязчиво рассказывает автор о цене жизни человека, о желании жить. На замечание начальника разведки: «Отбери ребят поотчаянней. Чтоб не моргнув в огонь и воду» (Вот они, сорвиголовы!) — автор устами командира группы мысленно отвечает: «Отчаянных во взводе нет. На отчаянных воду возят. А у меня североморцы. Матросы». В самом деле, есть ли такие отчаянные, которые не задумываясь бросаются в огонь и воду? Жизнь безоговорочно отвечает на этот вопрос. Таких людей нет. Человеку свойственно постоянно думать, а при выполнении ответственного, связанного с большим риском задания работа мысли усиливается во сто крат. Тот, кто не думает в бою, чаще всего погибает; мыслящий боец не только остается жить, но и наносит как можно больше урона врагу. Конечно, на войне встречаются крайние ситуации, когда человеку приходится сознательно отдавать свою жизнь, но он делает это не с радостью, а в силу суровой необходимости и глубокого понимания своего долга перед Родиной, товарищами.

Очень хорошо, что, расставаясь с начальником разведки, старший лейтенант Баландин задает вопрос о возможности возвращения, очень хорошо, что герои повести, разбросанные по острову, умирая, надеются, что их товарищи сумеют выполнить задание и вернуться. Это

закономерно. Это укрепляет волю людей, и в повести эта мысль проводится убедительно.

Да, герои Бориса Воробьева погибают. Героически и правдоподобно, как бывало на войне. Жаль только, что автор говорит об этом еще в прологе, обрывая тем самым все надежды у читателя.

Разумеется, художественная книга не обязана показывать минувшие события с документальной точностью. Однако любая книга, коль она претендует на роль воспитателя молодежи, должна показывать, что необходимо знать и уметь человеку, чтобы совершать подвиги.

Борис Воробьев хорошо показал роль дружбы в жизни своих героев, их веру в себя и товарищей. Хорошо, что в повести нашелся такой разведчик, как старшина первой статьи Федор Калинушкин, который своим неистощимым оптимизмом, безобидными подначками отвлекал друзей от мыслей о предстоящих испытаниях, давал возможность отдохнуть им от большой психологической нагрузки, которая обычно нестерпимо давит на сознание человека, находящегося в преддверии действий.

В повести есть и другие положительные и нужные зарисовки, они удачны, когда разговор идет о психологии разведчика, о его состоянии перед лицом смертельной опасности. Сейчас нет смысла пересказывать отдельные эпизоды, но на одном моменте я не могу не остановиться. Речь идет о поступке Мунко, который, как помнит читатель, взрывает плотину. Но этому факту предшествует другой, а именно — форсирование разведчиком реки. Вспомним: неумеющий плавать, панически боявшийся воды, Мунко тем не менее переборол свой страх и выполнил задание. Это и есть подвиг. Подвиг, совершенный не в порыве, не в азарте, а сознательно, во имя достижения успеха, во имя цели са-

мого боя. Еще Юлиус Фучик говорил, что «герой — это человек, который в решительный момент делает то, что необходимо делать в интересах человеческого общества». Именно эти качества продемонстрировал ненец Мушко Лапцуй. Воля, опирающаяся на разум, на запас знаний и умений гарантирует успех во всех случаях.

Думаю, не ошибусь, сказав, что повесть «Прибой у Котомари» нужна нашей молодежи. Несмотря на лаконизм авторской манеры, ее суровость и сдержанность, читается она легко, без отрыва, на одном дыхании. Борис Воробьев глубоко проник в психологию своих героев, изучил фактологию описываемого периода, правильно осмыслил нравственные критерии советского воина. Поэтому ему удалось создать запоминающиеся образы наших разведчиков, готовых служить Отчизне и народу до последнего вздоха.

Хочется пожелать Борису Воробьеву продолжать работу над благородной и нужной темой.

Виктор ЛЕОНОВ,
дважды Герой Советского Союза,
бывший командир разведывательно-диверсионного
отряда Северного флота

17 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ